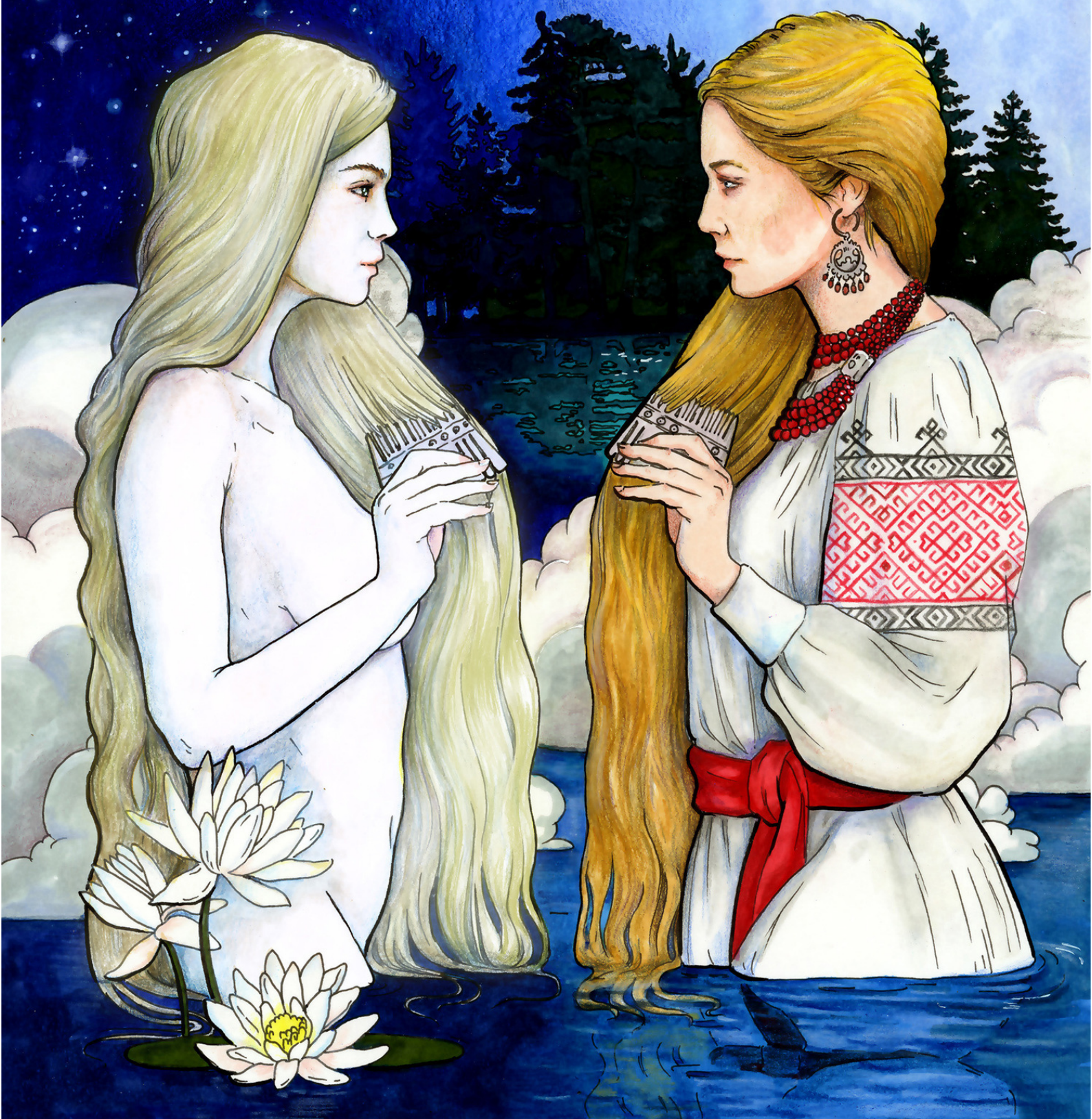


**ЕЛИЗАВЕТА ДВОРЕЦКАЯ**

**ДАР БЕРЕГИНИ**



Елизавета Дворецкая

**Дар берегини**

«Автор»

2020

**Дворецкая Е. А.**

Дар берегини / Е. А. Дворецкая — «Автор», 2020

Если простая девушка с перевоза внезапно полюбит молодого князя, без помощи высших сил ей не обойтись. Ради любви к Ингеру Прекраса решилась сделать шаг в неведомое – заключила договор с хозяйкой речного брода, берегиней. Дар Прядущих у Воды круто меняет жизнь Прекрасы, а расплата сейчас кажется такой далекой... Вместе с Ингером Прекраса отправляется в долгий путь на юг, где Ингер должен занять завещанный ему престол дяди. Однако Киев не рад «княгине с перевоза». У покойного князя Ельга остались дети – дочь Ельга-Поляница и Свен, побочный сын от рабыни, и они не жаждут уступить место двум чужакам. Борьба между наследниками Ельга Вещего делается все более непримиримой и опасной. К тому же у Свена тоже есть покровители из мира духов, что делает его достойным соперником для Прекрасы с ее чарами воды...

© Дворецкая Е. А., 2020

© Автор, 2020

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть I                           | 5  |
| Глава 1                           | 5  |
| Глава 2                           | 17 |
| Глава 3                           | 32 |
| Глава 4                           | 44 |
| Глава 5                           | 58 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 62 |

# Елизавета Дворецкая

## Дар берегини

### Часть I

#### Глава 1

Прекраса стояла посреди бани, на расстеленной своей старой рубашке, и светло-русые мокрые волосы окутывали ее до середины бедра. С концов их стекала вода, и обнаженная девушка сейчас напоминала русалку, едва вышедшую из родной стихии.

Две женщины, самые знатные в Холмогороде, лили княжеской невесте на голову теплую воду и приговаривали, подхватывая одна за другой:

- Мать-Вода!
- Государыня-Вода!
- Течешь ты по камушку белому!
- Омываешь крутые берега!
- Мать-Вода!
- Государыня-Вода!
- Не теки ты по камушку белому!
- Не омывай крутые берега!
- А ты омой Прекрасу, Хрокову дочь!
- Смой с нее страсти и болясти, худые оговоры!
- И нареки ей имя...

...Готовясь к завершающим свадебным обрядам, молодой князь Ингер точно знал, какое имя должна носить будущая госпожа его дома.

– Это имя моей матери, и моя жена получит его вслед за ней, как ее наследница, такая же полноправная хозяйка всего, чем владел мой отец, мой дядя Ельг и чем буду владеть я, – уверенно отвечал он тем, кто сомневался в верности этого решения. – Ельга – имя истинной госпожи, жены и матери князей, и она примет его, входя в мой дом.

– Так-то оно так... – отвечали ему двое бояр, Братимил и Светлой.

Кияне приехали за Ингером из далекой земли Полянской, чтобы сообщить ему о смерти брата его матери, Ельга Вещего, и позвать на опустевший, оставленный ему киевский стол.

– Но в Киеве уж есть Ельга, дочь князя нашего. Сам отец ее нарек. К чему будут в городе две госпожи одинаково зваться? Возьми хоть имя матери ее покойной или бабки. Ольведа или Придислава – разве плохо?

– Княгиней в Киеве будет не сестра моя, а жена, – невозмутимо, но твердо возражал Ингер. – Сестра выйдет замуж – вы ведь говорили, она уже взрослая? И тогда в нашем роду останется только одна Ельга – моя жена.

– И так среди киян... смущение может выйти, что ты супругу простого рода взял, а тут еще имя княжеское ей даешь... – осмелился намекнуть Братимил.

– Моя невеста не родилась в знатной семье, и я сам должен дать ей знатность, – Ингер прочно стоял на своем. – Она спасла мою жизнь и тем стала мне дорога не менее, чем была мать. Она наделена от богов мудростью и волшебными умениями, и ей по праву должно принадлежать имя, которое носили в древности правительницы и валькирии. Она станет равной им всем и не уступит ни одной из тех, о ком сложены сказания.

Киевских бояр поддерживал даже Ивор, Ингеров воспитатель. Но восемнадцатилетний князь вышел победителем в споре – никто не имел власти оспаривать его волю, а он хорошо знал, чего хочет.

– И нареки ей имя... – приговаривали по очереди Ольсева и Мирорада, жены знатнейших холмоградских бояр.

В длинных белых сорочках, тоже с распущенными волосами, они напоминали двух судениц, Макошиных помощниц, вынимающих новую душу из облачного колодца. Одна – Доля, другая – Недоля, счастье и беда, рука об руку идущие с человеком через всю его жизнь.

– Ельга Прекрасная...

– Ельга Прекрасная...

Девушка стояла, закрыв глаза и чувствуя, как потоки воды омывают ее с головы до ног, как будто она только сейчас вышла из материнской утробы. С водой уносится прочь вся ее прошлая жизнь. Нет больше Прекрасы с Хрокова двора. Теперь ее зовут Ельга, и она не дочь варяга-перевозчика с реки Великой, а жена Ингера, владыки Холмогорода, а в недалеком будущем – и Киева. У нее больше нет другого рода и родичей, кроме князей холмоградских. Совсем недавно она уехала из дома простой девушкой, но еще до начала зимы вступит в столицу земли Русской как ее полновластная госпожа. Княгиня Ельга.

И если кто-то в Киеве не готов к этой встрече, то пусть побережется.



В тот весенний день Прекраса кормила кур, когда во двор прибежал Гунька, ее младший брат.

– Отец сказал... князь из Холмогорода едет! – выпалил он, задыхаясь. – Иди... посмотри... если хочешь.

От неожиданности Прекраса, перед тем думавшая о курах, всплеснула руками и чуть не уронила деревянное корытце.

– Ох ты! Гунька, да что ж ты, шиш беспортошный! Напугал!

– Сама такая! Не хочешь, не ходи.

– Кня-азь? – недоверчиво повторила Прекраса, пытаясь понять, о чем речь. – Не наш?

– Да не! Из Холмогорода, говорю же! – от нетерпения десятилетний Гунька приплясывал на месте. – Ну, идешь?

И в летнюю пору – по воде, и в зимнюю – по льду мимо Выбут часто ездили люди: здесь лежал путь с юга и запада к Плескову, стольному городу северных кривичей. От выбутских порогов до него оставалась половина днища – дневного перехода. Выйти поглядеть на проезжающих было излюбленным развлечением жителей, и потом, бывало, еще долго судили: кто был каков, как одет, у кого какие лодьи (а зимой – лошади), что везли, какие новости рассказывали, кто чего купил или продал. Не менее двух раз в год мимо Выбут проезжал и князь плесковский, когда отправлялся в гощение, а потом возвращался назад. Иной раз даже заходил к ним в избу – Хрока, отца Прекрасы и Гуньки, князь Стремислав знал с давних пор, еще до его женитьбы. Поэтому своим князем Прекрасу было не удивить, хотя и на того она не отказалась бы глянуть. А тут какой-то чужой! Из Холмогорода!

– Я сейчас!

Прекраса огляделась, пытаясь понять, как быть, сунула корытце на дрова, отряхнула руки, оглядела себя и побежала в избу – взять поневу. Шел только месяц травень, но было так тепло, что она вышла на двор в одной сорочке с пояском. Но на люди так идти не годится – взрослая дева, уж две осени как замуж можно.

– Там князь из Холмогорода едет, отец прислал сказать. Можно, я схожу посмотрю? – запоздало спросила она у матери, что стряпала пироги.

– Прямо целый князь? – обернувшись, усмехнулась Гуннора. – Ну, сходи погляди.

Прекраса торопливо завернулась в поневу и, на бегу завязывая гашник, устремилась наружу. Выбуты стояли над длинной мелью на реке Великой, где не проходили лодьи; здесь их вытаскивали и на катках тянули дальше, за каменистый брод, пока через три версты не начнется снова глубина. Переправой лодий на катках заведовал отец Прекрасы – человек князя Стремислава, поэтому он всегда знал, кто и куда направляется.

На ходу расправляя поневу, Прекраса вышла к реке и остановилась возле стайки местных жителей, у крайнего выбутского тына. Великая, главная река плесковского племени, была здесь широка, но мелка; белая пена бурлила среди синей глади у краев каменных плит. День и ночь здесь стоял шум неистойвой воды. Под ярким солнцем поверхность искрилась, колола стеклянным блеском, и Прекраса поднесла ладони ко лбу.

Сразу бросилась в глаза незнакомая толпа – с два десятка человек, все мужчины, хлопотали возле двух больших лодий, перетаскивая поклажу на берег. Весла уже лежали на возах, запряженных волами – эти повозки и животные принадлежали князю, а надзирал за ними отец Прекрасы. Девушка окинула чужаков быстрым пытливым взглядом. Она никогда не видела никаких других князей, кроме своего, Стремислава плесковского, и очень хотелось узнать, какие бывают князья в других землях.

Князь – основа всего своего рода-племени, корень его и дух. Старший потомок пращура-прародителя, он ведет свой род напрямую от Перуна. Всякую осень князь с малой дружиной обходит свою землю, посолонь, как само солнце, замыкает благодетельный охранительный круг. Он благословляет нивы и стада, приносит жертвы богам, поднимает чары на дедов, чтобы не прерывалась связь пращуров и правнуков, чтобы множились роды плесковские. Как и все, Прекраса привыкла видеть в своем князе создателя и хранителя земли. Весь белый свет, как она его себе представляла, принадлежал ему, Стремиславу. А за сумежьем<sup>1</sup> лежало Окольное – чужие страны, граничащие с самой Навью. И так чудно было увидеть князя чужой страны – все равно что солнце чужого, неведомого мира.

Но ведь они есть где-то, эти чужие страны. Словенская сторона в Приильменье, чудская земля за Чудским озером, варяжские страны, из которых когда-то давно пришли деды и отца ее, и матери. А еще больше эти стран было в сказаниях, которые она слушала по зимам. Дед Пирята знает предания и про Греческое царство, что лежит на полудень в такой дали, что туда года три добираться... И везде свои князья. Каковы же они?

Среди занятых работой отроков в пропотевших серых рубахах выделялось несколько человек. Двое-трое не таскали мешки, а стояли с хозяйским видом, переговариваясь. Возле них был и отец – высокий, худощавый, с черной бородой, издали бросавшейся в глаза. За рост, худобу и темные волосы плесковские варяги ему с юности дали прозвище Хрок – Грач, а настоящее имя его, Эйфрид, уже почти забылось. Прекраса радовалась тайком, что уродилась в светловолосую мать. Имя ей, как первенцу родителей, поначалу дали отцовское – Эйфрида, однако матери так часто приходилось объяснять соседкам-славянкам, что это имя означает «прекрасная», что дочь ее стала Прекрасой еще до того, как сама научилась говорить.

Двое других, стоявших возле отца, Прекрасе были незнакомы. По виду ничего особенного: один в серовато-зеленом варяжском кафтане, другой в белом, некрашеном. Тот, что был одет поярче, стоял к Прекрасе лицом: рослый мужчина лет пятидесяти, уже немного огрузневший, с округлым животом, с крупными чертами лица и темной полуседой бородой. Некоторая полнота придавала его широкоплечему стану еще больше внушительности. Густые темные брови были изогнуты над строгими глазами, губы с опущенными краями добавляли суровости, и даже в том, как он стоял, немного откинувшись назад и засунув за пояс большие пальцы, сказывалась привычка повелевать и быть на виду. Больше ничего особенного Прекраса в нем

---

<sup>1</sup> Сумежье (от слова «межа») – пограничье между своими краями и чужими.

не углядела, любой торговый гость мог бы выглядеть так же. Ну, понятно же, сказала она себе, стараясь одолеть разочарование. В дорогу кто же наряжается? Вот доедет до Стремислава, там будет и красный плащ с золотой сустогой<sup>2</sup>, и меч в золоте.

– Ну, он ничего так, – улыбнулась она, – вида основательного. И не совсем старый еще...

Стремислав плесковский был постарше, и хотя еще не одряхлел, как-то весь выпцвел и дряблой своей бледной кожей напоминал Прекрасе о лягушачьем брюшке.

– Не туда ты смотришь, чащоба! – хмыкнул Гунька. – Не этот – князь. А вон тот – князь! – он показал рукой. – В белой сряде который!

Словно услышав их – хотя плотный шум воды над порогами помешал бы, даже стой они куда ближе, – второй собеседник обернулся.

От неожиданности у Прекрасы оборвалось сердце, по всему телу разлилась дрожь. Этот, в белом кафтане, был совсем юн – на два-три года старше нее самой. Потом он снова отвернулся, но она уже не сводила глаз с его спины, будто завороченная.

– Но как же он... – едва владея своим голосом, пробормотала она, – отрок же еще совсем, как же он... князь?

Как может быть отцом целому племени тот, кто сам еще едва ли не нуждается в отцовской заботе?

– Так отец его за Сварожичем ушел<sup>3</sup> уже... когда? – призадумался старый Пирята, стоявший возле нее. – Уж зимы две либо три... А родни другой у них нет. Я слыхал, как бывал в Холмогороде. Вот он и сел сам на стол тамошний. А тот боярин – кормилец его, заместо отца покуда. Имя у него варяжское какое-то, запомнил я...

Лодьи тем временем разгрузили, вынесли из воды и поставили на катки. Чтобы не мешать, двое старших отошли и вместе с Хроком двинулись следом за лодьями. Толпа выбутских жителей – по большей части женок, отроков и детей, – тоже потянулась следом. Перенос лодий через отмель был привычным, но неизменно любимым развлечением в здешних местах.

Заметив движение толпы, почтительно не подходившей слишком близко, отрок в белом кафтане снова обернулся и оглядел жителей. Улыбнулся и приветственно махнул им рукой. Ему ответили: иные из баб поклонились, дети радостно закричали. Одна Прекраса стояла, не шевелясь. Беглый взгляд его опалил ее, перехватило дыхание, будто молния сверкнула прямо перед глазами.

Теперь он был поближе, и она могла разглядеть его лучше. Отрок лет восемнадцати был высок, еще по-юношески худощав, но уже было видно, как красиво стан его сужается от широких плеч к тонкому поясу. Продолговатое лицо с тонкими чертами, нос великоват, но ровно и красиво вылеплен. Большие серые глаза смотрели немного исподлобья, осененные черными и густыми, как у девы, ресницами и ровными русыми бровями. Шапки на нем не было, и волосы, тоже русые, подстриженные до середины ушей, были опрятно расчесаны на прямой пробор и двумя мягкими волнами красиво осеняли высокий лоб, наводя на мысль о крыльях.

От восхищения Прекраса едва могла вдохнуть. Вот теперь она видела настоящего, истинного князя из сказаний! Того самого, что дойдет хоть до неба и выведет из золотого терема Солнцеvu Сестру. Именно таким он и должен быть. Не зря она всегда в глубине души полагала, что бледный и дряблый их Стремислав – досадная ошибка, подделка, недостойная своего звания.

Всякий истинный князь ведет свой род от богов, и божественная кровь дает ему все – ум, красоту, удачу, отвагу, вежество, удачу. Все это имелось в холмоградском князе, и юность только подчеркивала остальные дары. Казалось, вместо крови в жилах его течет солнечный

---

<sup>2</sup> Сустога – застежка (иначе фибула), обычно в виде кольца с иглой.

<sup>3</sup> За Сварожичем (огнем) уйти – умереть, метафора погребального обряда через сожжение.

свет, и оттого сияние одевает его лицо, весь стан до самых черевьев. И даже черевьи его ступали по траве с особой значительностью, будто благословляя своим касанием каждую былинку.

Прекраса глядела ему в лицо, и в груди ее разрасталось какое-то белое пламя. Оно растеклось по жилам, наполняя жаром и дрожью, восторгом и болью. Само солнце в человеческом облике не могло быть прекраснее. Хотелось идти за ним, как за солнцем, ни о чем не думая, ничего не желая – только видеть его и греться в его лучах, как цветок на зеленом лугу.

Под выкрики две лодьи дружно толкали вперед; из-под кормы забирали катки, переносили вперед и подкладывали под нос. Это все Прекраса видела уже сотни раз и теперь замечала только молодого князя. Вместе со своим боярином он неспешным шагом следовал за лодьями, мимо череды полосатых камней, где Великую переходят вброд, мимо длинных гряд за плетнями, уже засеянных репой, морковью и бобами, мимо белых и черновато-серых коз, пасущихся среди валунов. В отдалении за ними брела стайка любопытных. Глядя только в спину молодого князя, Прекраса опередила всех; сама того не замечая, она шла за ним шаг в шаг, невольно подстроившись под его неспешную походку.

С каждым шагом она волновалась все сильнее. Дрожь не унималась, от нее слабели ноги, теснило дыхание, а сердце как будто сжимала жесткая рука. Подумалось: а что если отец перед дальнейшей дорогой пригласит знатных гостей отдохнуть в избе? До Плескова еще полперехода, и те, кто перед ним больше не делает остановок, бывают рады подкрепиться. Что если они сейчас повернутся и вместе с отцом пойдут назад? К ней? И он увидит ее? А потом ей велют подавать на стол для гостей? Эта мысль так ее испугала, что Прекраса чуть не бросилась бежать прочь от берега. Но никто на нее не смотрел, князя и его боярина занимали только их лодьи.

Вот и конец мостков – там лодьи вновь спускали на воду. Отроки стали разгружать возы с поклажей. Князь снова разговаривал с отцом Прекрасы; развязал мешочек на поясе, вынул что-то, передал – плату за помощь в прохождении порога. Здесь все платят, но обычно частью своего груза. Кто крицу железную даст, кто репы мешок, кто зерна. Отсюда и сегодняшние материны пироги – гости проезжали, везли жито в Плесков, дали полмешка, а так по весне запасов нет ни у кого. Но у людей из Холмогорода никакого товара с собой не было, только дорожные пожитки. Видимо, не торговать они ехали. А зачем? Может, отец знает? Прекраса с нетерпением ждала, когда отец простится с гостями и вернется домой, чтобы можно было его расспросить.

Отроки уже почти все в лодьях. Вот они прощаются. Отец что-то говорит, показывая вперед по течению. Князь кивает, улыбается... У Прекрасы сладко защемило сердце – как он хорош от этой улыбки! Вот он махнул рукой... перескочил в лодью, прошел назад, на корму, где трепещет на высоком древке небольшой красный стяг, и сел возле кормчего. Отец махнул им вслед, и лодьи двинулись вниз по реке, к Плескову.

В груди похолодело. Это все! Он уехал, и больше ей его не увидеть! Невольно Прекраса сделала несколько шагов вдоль берега, будто пытаясь догнать уходящее солнце, но опомнилась. Не бежать же за ними. Да и что увидишь? Лодьи отходили дальше от берега, на ширину реки, и вот уже лишь пятно его кафтана смутно белеет вдали.

Вот пропало среди солнечных бликов на воде и оно. Прекраса опустила веки, зажмурилась. Только сейчас поняла, как устали глаза. Под опущенными веками бродили огненные пятна, будто отражая жар ее сердца, а в мыслях она продолжала видеть молодого князя, вглядывалась в оставшийся в памяти образ. Он был внутри нее, заполонил все пространство в душе, и это пространство вдруг оказалось очень большим. Она сама, с этим образом внутри, как будто стала больше.

– Ты чего? – раздался рядом знакомый голос. – Заснула на ходу, что ли?

Прекраса открыла глаза. Возле нее стоял отец и слегка хмурился.

– А что он тебе дал? – Прекраса жадно взглянула на отцовский кулак, в котором было зажато что-то маленькое.

– Да вот, – Хрок раскрыл мозолистую ладонь, и Прекраса увидела четвертинку серебряного кружка-ногаты.

– О-о! – она взволнованно охнула и с трепетом взяла кусочек серебра.

Ногата была старая, стертая, печать едва видно. Но ей казалось, осколок самого солнца она держит в пальцах – ведь только что его касался *он*! Он привез сюда этот кусочек серебра, тот лежал в кошеле на его поясе, согретый теплом тела... Прекраса содрогнулась, будто ощутив это чужое, но такое желанное тепло. Она сжала обрубок ногаты в кулаке и приложила к сердцу. Хотелось запрятать его туда, внутрь, и носить в своей груди всю жизнь!

Отец засмеялся и забрал у нее плату – это княжье. Прекраса с неохотой разжала пальцы, но тут же вспомнила еще кое-что.

– Батюшка, а он... он сказал...

– Что? – отец поднял косматые черные брови, не понимая, что нашло на его единственную дочь. – Ты о ком?

– Ну, он... князь... это же князь был холмоградский? Который молодой... мне Гунька сказал...

– Да, это князь. Я за тобой и послал, думал, тебе любопытно будет глянуть.

– Как его зовут? Он сказал?

– Боярин сказал. Да я и сам знал.

– Ну?

– Ингер его зовут. Хрориков сын.

Прекраса выдохнула и больше ничего пока не спрашивала. Ей требовалось время, чтобы уместить в своей груди и это сокровище – его имя.

Хрок повел ее домой, радуясь, что больше дочь не задает вопросов. Кое-что из речей молодого князя его встревожило, но он еще не решил, стоит ли с кем-то делиться.



Молодой князь Ингер и сам дивился судьбе, что послала его в дорогу – и это было лишь начало. До того он не удалялся от Холмогорода далее чем в Ладогу в низовьях Волхова, но для него это была «своя земля»: Ладога хоть и не платила дань Холмогороду, но не имела своего князя и туда Хрорик, как его отец и дед, ходил в гощение. Граница владений между словенскими и плесковичами проходили по Узе, притоку Шелони: на Шелони еще встречались старые, дедовых времен, округлые могильные сопки, а далее на запад – только длинные курганы, как насыпают для своих мертвых кривичи. В чужой край Ингер вступал с неудобным чувством неуверенности, будто солнце, вынужденное спускаться в Подземье. Чудилось, что здесь и земля не такая, и вода не такая, и само небо уже какое-то другое... Но делать нечего – приходилось привыкать. Успокаивало присутствие Ивора – два года назад тот уже ездил этим путем, да и вообще был человек бывалый. Потому Хрорик и выбрал его в кормильцы своему последнему, позднему сыну – единственному, кто остался в живых ко дню смерти отца.

Без боярина Ингер не справился бы – слишком нелегкая доля ему выпала. Через Приильменье проходили дальние торговые пути на юг и на восток, освоенные варягами лет полтора назад. Если не гнали родовые саги, то уже двести лет – десять поколений варяги жили в Ладоге, постепенно проникая оттуда дальше на юг. Хрорик Старший, прадед Ингера, происходил из потомков знаменитых конунгов Харальда Боезуба и Хальвдана Старого. Он пришел с Варяжского моря и занял место, с которого словенскими были изгнаны слишком жадные конунги свеев. При Хрорике Старшем словене получили защиту от набегов с Варяжского моря, оживилась торговля, в которой словенские девы и отроки больше не оказывались в перечне товаров, увозимых в сарацинские страны. Зато сами словены теперь порой снаряжали по зимам дружина для набегов на чудь, а захваченный полон при посредстве Хрорика сбывали его товари-

щам-варягам для продажи на юг. Хрорик и его люди не раз и возглавляли эти походы, укрепляя связи пришлого вождя и местных старших родов.

Перед смертью Хрорик-внук собрал всех окрестных старейшин в святилище Перынь и взял с них клятву, что они признают своим князем его единственного сына. На самом деле, как понимал Ингер, все эти два года Поозерьем правили сами старейшины, а Ивор направлял их в нужную сторону, если они никак не могли договориться между собой. Все изменится, когда он возмужает, утешал себя молодой князь. Глупо же надеяться, что отцы и деды старинных родов будут повиноваться безумному отроку, у которого лишь два поколения предков погребены в этой земле, а прадеды – где-то за морем. По сравнению со здешними родами, живущими в этих краях лет по пятьсот, его род был что двухлетнее чадо перед седыми старцами.

Когда выбутские пороги остались позади, Ингер тайком вздохнул с облегчением. До Плескова оставалось менее половины перехода, и следующую ночь холмоградская дружина проведет уже под крышей, возле печи. Тепло поздней весны позволяло печь в доме не топить, избегая дымной горести, но где печь – там чурь, и если ты принят под чужой кров как гость, то можешь не бояться... пришельцев из Нави.

Ту ночь, что предшествовала приезду холмоградцев в Выбуты, они провели под открытым небом. Поставили три шатра, развели костер, расстелили вокруг кошмы. Сварили кашу, поели, сидели возле угасающего огня, зевая и вяло переговариваясь. Комары еще не полетели, но на долгие посиделки после шести дней дороги не тянуло, кое-кто уже и спал, завернувшись в вотолю. Багряные полосы заката еще висели над лесом в той стороне, куда холмоградцы направлялись.

Ингер поднялся, потянулся.

– Пойду пройдуся, пока не совсем стемнело, – сказал он Ивору. – Засиделся в лодье.

– Пройдись, – тот почесал под бородой, подавил зевок. – Гляди, чтоб русал... гляди, словом. Поосторожнее будь.

– Да разве им уже пора? – Ингер понял, о чем кормилец хотел сказать.

– А то нет! Рожь цветет – стало быть, здесь они.

– А мне мнилось, снег только сошел, – Ингер улыбнулся своей незадаче. – Проскользнула весна, как миг один.

– Эх! – Ивор махнул рукой. – Вот всегда ты у меня такой был... неприметливый.

– Да это ему не терпится, чтоб девки поскорее круги завели, – усмехнулся отрок, Обрядило.

– А чего Ратьша купается? – Ингер кинул на ивы, из-за которых доносился плеск воды и веселая приглушенная брань. – Коли опасно?

– Да этого поленом не убьешь! – Ивор махнул рукой. – Ты на него не гляди.

Ратислав приходился Ивору двоюродным племянником, и тот не очень высоко ценил его благоразумие.

Ингер в воду лезть не хотел – не положено этого делать раньше Купалий, да и холодно, особенно к ночи, – поэтому пошел в другую сторону. Место было довольно глухое, окрестные весняки<sup>4</sup> ездили здесь только по реке и тропинок вдоль реки не протоптали. Но и лес оказался довольно чистый, без бурелома, только между белым известковым обрывом и темной водой стеной стояла осока. Ингер шел дальше – что-то тянуло его вперед. Хотелось найти красивое место и посидеть над рекой, глядя, как гаснут над лесом отблески заката. Подумать – что осталось позади, что ждет впереди? Жизнь его была на крутом изломе, и хотел бы он приостановить бег времени, опомниться. Да нельзя...

Князь оглянулся, запоминая приметы. Не потерять бы обратную дорогу в темноте. Берег повышался, теперь он ясно видел реку поверх осоки. На бугре росли старые сосны, а на отмели

---

<sup>4</sup> Весняки – сельские жители, от слова «весь» – деревня.

под ними темнела россыпь валунов. Ингер спустился, сел на ближайший валун. Несколько таких же виднелись на мелководье.

Шагах в десяти от него меж камней мелькнуло что-то светлое. Ингер вздрогнул от неожиданности и взгляделся. На валуне сидела птица – утка, но только совершенно белая. Благодаря белизне она четко выделялась в сумерках и даже, кажется, испускала легкое сияние.

Ингер смотрел на нее, невольно приоткрыв рот. Никогда еще он не видел белых уток!

– Год от году хуже, – вдруг прошепестел над водой чуть слышный голос. – Летошний год был плох, а сегодняшний год еще того пуще будет.

Ингер вскочил на ноги и в изумлении огляделся. Казалось, голос исходит из темной стены густой осоки, и стало жутко: кто там прячется? Зачем? В теплый вечер по спине продрало морозом.

Утка спрыгнула с камня и нырнула. Потом вынырнула.

– Плеск есть, а головы нет, – снова прошепестел голос.

Ингер попятился. Осока стояла плотной стеной, только верхушки ее слегка качались на ветерке. И голос раздавался опять позади – со стороны камня, где кувыркалась в воде уточка.

– Плеск есть, а головы нет, – опять услышал Ингер.

У кого нет головы? У нее, что плещется? Да нет же, вон ее голова, там, где и положено быть.

Потянуло взяться за собственную голову и проверить – на месте ли? От жути застывали жилы. Показалось ужасно глупым, что в чужом месте отошел от своих. Нужно скорее вернуться к огню... Ингер попятился еще, не сводя глаз с реки. У начала склона повернулся и стал торопливо подниматься.

– Плеск есть, будет и голова! – прошепестел вслед ему голос, и в нем слышалась поспешность, будто говорившись собирался пуститься вдогон. – Будет и голова!

Ингер с трудом сдержал желание побежать.

В лесу голос отстал, но по дороге к стану Ингер то и дело оглядывался. Так и мнилось, что эти шептуны идут за ним, след в след. Сердцебиение не унималось, в груди ощущалась прохладная пустота.

На полпути он увидел на тропе впереди кого-то рослого, темного; в первый миг вздрогнул, но тут же узнал Ратислава, собственного десятского. Это был худощавый белобрысый парень с продолговатым лицом; надо лбом у него в светлых волосах виднелась небольшая прореха над шрамом, полученным год назад в чудских лесах при сборе дани.

– Вон он ты! – воскликнул Ратислав при виде Ингера. Волосы у него были мокрые после купания. – А я за тобой! Старик послал, – стариком он по-свойски называл своего дядю Ивора, – говорит, не сгинул бы...

– Не сгинул я! – усмехаясь, Ингер приобнял Ратислава за плечи и развернул обратно к стану. – Экие вы боязливые!

– Да я что, а старик забеспокоился. Чужая земля, говорит...

– Будто он сам дальше выгона не бывал! Ну что, холодна водичка?

У костра осталось несколько человек, остальные уже разошлись по шатрам. Какие-то двое в реке отмывали котел, человек шесть спали прямо тут, у кострища. Ивор еще сидел, зевая и дожидаясь молодого князя.

Ингер присел на бревно, раздумывая: рассказать, не рассказать? Что это все значило? «Плеск есть, а головы нет» – как это понимать? Но, покосившись на Ивора, передумал. Откуда дядьке знать, что это за плеск такой?

Ночью Ингер спал плохо – то и дело вздрагивал и просыпался, будто падая куда-то. Под утро так замерз, что едва дождался, пока отроки поднялись и развели костер – варить кашу. Вчерашнее вспоминалось, как сон, однако он знал: не привиделось ему это. И весь день загадочные речи не шли из головы.

Когда проходили пороги, Ингер тоже думал об этом, но старался никому не показать тревоги: улыбался местным веснякам, таращившим на него глаза, вел беседу с порожским старейшиной. Когда уже пора было отплывать и Ивор ушел в лодью, Ингер вдруг решил.

– А скажи-ка, – обратился он к чернобородому варягу по имени Хрок, проводшему их через пороги, – что в ваших краях значит слово «плеск»?

– Плеск? – тот изумленно воззрился на него с высоты своего роста. – Да... да вот он, плеск! – Широким взмахом Хрок обвел реку, перекаты позади, где бурлила желтоватая мелкая волна, и каменистый брод, где поперечные полосы на выступающих камнях указывали, где стояла вода в какой-то из прежних лет. – Вот наш плеск и есть.

– Значит, это вода? – Ингер нахмурился, по-прежнему не понимая.

– Вода. Ну, еще судьба, – Хрок усмехнулся. – У нас так говорят. Здесь, у плеска, ходят судьбу слушать. Чего услышишь, бают, то и будет. Жена моя искусница по этому делу.

«Вода есть, а головы нет»? «Судьба есть, а головы нет»? Что ему хотела сказать та клятая утка? Смысл не складывался, понимание не приходило.

– А ты чего любопытствуешь? – Хрок видел по лицу юного князя, что ответ не рассеял недоумения.

– Так... ничего.

Попрощавшись, Ингер направился в лодью, где ждали его одного. И, едва лодья отчалила, тревога исчезла из мыслей, будто он сумел бросить и оставить ее на выбутском берегу. Нет толку в тех словах, ну и нечего думать. Мало ли нежить всякая безлепицы несет?



О приезде молодого холмоградского князя Стремислав плесковский был предупрежден и ждал гостя с нетерпением – томило любопытство. Два года назад, когда шестнадцатилетний отрок оказался на Хрориковом столе, они, как положено, обменялись посольствами, но сами не виделись. Князья не ездят в чужие края и, ежегодно обходя свои земли, никогда не удаляются за их пределы. Вне своей земли князь теряет свою священную силу, да и земля, лишенная князя, открыта для всяческих бед.

– У них, у варягов, не так, – толковали старейшины. – Им что здесь быть, что за морем – все едино.

– Они, варяжские-то князья, сами из волн морских вышли, какая им земля?

– Род их, говорят, с острова Буяна ведется.

– Да он, Хрориков-то сын, в Холмогороде и родился, Буяна не видал. Любопытно, видать, отроку свет белый посмотреть. Погулять, пока молодой.

– Невесту ищет, – княгиня, полная, жизнерадостная женщина, была уверена, что именно она угадала истину. – Ему же было шестнадцать, теперь восемнадцать уже, а ведь он неженатый?

Старики переглядывались и качали головами: этого никто не знал.

– Да вроде не слышно было, чтоб он женился, – Стремислав разводил руками. – Кабы женился, так уведомил бы, с кем ныне в родстве, мы б дары послали.

– Ну! А у нас-то есть красный товар! Видать, прослышал...

Поездка за невестой и правда была чуть ли не единственным объяснением такого необычного шага. Женская часть Плескова пришла в смятение, да и Стремислав то и дело раздумывал – подходящее ли дело? Да вроде в самую версту – князь молодой, да по соседству, где зятя лучше найдешь?

У Ингера и впрямь имелась новость, способная удивить плесковичей, но лежала она далеко от их догадок. Стремислав со своими ближиками<sup>5</sup> и кое-кем из старейшин жил в детинце, что стоял на высоком узком мысу при слиянии Плесковы и Великой, но гостя принял в святилище, неподалеку от города. На площадке за валом стояли два длинных дома, где плесковичи собирались на пиры во время священных праздников или на совет – в один и поместили знатного гостя. День отвели на баню и отдых, а назавтра сам Стремислав явился в святилище вместе с кое-кем из близко живущих старейшин и своим варяжским воеводой, Дагвидом. Несколько дней они спорили с княгиней, вести ли с собой дочерей, но порешили сперва взглянуть на гостя.

Два князя, молодой и старый, встретились на площадке между обчинами, перед идолом Перуна: на большом камне лишь слегка были намечены очертания лика с длинными усами. Каждый принес жертву, прося благословения для этой встречи. Стремислав зорко следил, как Ингер исполняет это дело, и остался доволен: несмотря на молодость, тот действовал уверенно. Важно умертвить жертвенного барашка, не причинив ненужных мук и не пролив на землю крови, а для этого требуется умение и опыт. Но тот, кто рано становится старшим в семье, и опыт приобретает рано. Двое отроков держали уложенного на спину барашка за ноги, а Ингер ловким движением рассек брюшину, просунул руку внутрь и остановил сердце, сжав в руке. Стремислав лишь приметил, как хмурился при этом молодой гость, стараясь сохранять уверенный вид. Удивительное зрелище являли они двое, стоящие перед грубым каменным идолом божества; один – как месяц ясный, тонкий и стройный, а другой – как полная луна, бледная и расплывшаяся. Стремислав, происходя из древнего рода «князей-пахарей», как знак своей власти держал посох; Ингер, из рода князей-воинов, имел возле пояса дорогой меч с рукоятью в серебре.

Пока назначенная для людей часть жертвы варилась, оба князя прошли в обчину и там уселись: холмоградцы с левой стороны от очага, плесковичи с правой. Стремислав с княгиней сидели во главе стола, а Ингер – слева от них, так чтобы удобно было вести беседу. Глаза княгини горели откровенным любопытством: она не могла прогнать мысли, что Ингер приехал поискать себе здесь жену, и уже примеривала, годится ли в зятя. Отрок ей нравился: рослый, стройный, красивый, взгляд серых глаз спокойный и вдумчивый. За столом он держал себя опрятно, с хозяином был почтителен, со своими людьми ровен, не выказывая ни дерзости, ни заносчивости. И княгиня уже мысленно ставила рядом с ним своих дочерей, прикидывая, которой он лучше подойдет. Едва не прослушала за этим занятием, когда князья покончили с вопросами, хорошо ли гость доехал и все ли благополучно у хозяина и перешли к делу. Стремислав посматривал на Ингера и на Ивора с намеком: вежество с трудом превозмогало любопытство.

Ингер и сам хотел скорее поговорить о деле: предстоящие перемены в судьбе занимали все его мысли.

– Отец мой, Хрорик, всегда был тебе, Стремиславе, добрым соседом, – начал он.

– Да и мы соседей не обижали вроде, – ответил плесковский князь.

– Я ни в чем вас не виню. Напротив того – хочу просить, чтобы и дальше вы дружбой нашей меня и землю мою не оставили. Я вскоре Холмогород покидаю... далеко отсюда буду... но хочу, чтобы в сердце ты и я по-прежнему близки были и никакого зла друг на друга не мыслили.

– Далеко будешь? – насторожился Стремислав. – Куда же ты собрался? За море, что ли? На остров Буян?

---

<sup>5</sup> Ближики – близкие люди в семейном смысле, родня и домочадцы.

– Нет, – Ингер качнул головой. – Не за море. Ты знаешь, вуй мой, Ельг, много лет назад ушел на полуденную сторону, в землю Полянскую, в Киев-город, и там себе княжий стол сыскал.

– То нам ведомо, как же иначе. Как он там, к слову? Здоров?

– Получил я весть нерадостную, – Ингер опустил глаза, потом снова воззрился на Стремислава, и по взгляду его тот сразу понял великую важность предстоящих слов. – Зимой минувшей умер родич мой Ельг и стол киевский мне завещал.

– Вот как! – изумленный Стремислав подался вперед. – А у него сыновей нету своих?

– Были у него сыновья, да всех он пережил. Один у него наследник ныне – это я. И придется мне в сие же лето ехать туда, в землю Полянскую, наследок его принимать.

По правой стороне стола, где сидели плесковичи, пробежал ропот удивления. Ахнула княгиня, Стремислав еще шире раскрыл глаза.

– В Киев собираешься?

Ингер кивнул.

– Надолго ль?

– Как богам поглянется.

Ингер улыбнулся: на такой вопрос и пытаться отвечать было неразумно. Отсюда Киев казался лежащим не то что на краю света, а и далеко за краем. Доедешь ли? Кто там ждет? Как встретят? Думая об этом, Ингер видел впереди такой же туман, как если бы собирался на тот свет. Даже, пожалуй, хуже. На том свете ждут деда, о которых он знал не так уж мало. Но о тех людях, полянах, киянах, что обитали на среднем Днепре, он не имел никакого представления. Из них ему были знакомы только двое бояр – Братимил и Светлой – что приехали сообщить ему эту весть и позвать на опустевший киевский стол.

Оставшийся без князя Холмогород Ингер мог поручить только посаднику из ладожской родни своей матери. Киева он совсем не знал и настоящей своей землей считал только словенское Поозерье; уезжая в немыслимую даль, на неизвестно какой срок, он хотел обеспечить ей мир в свое отсутствие и для этого решил повидаться с наиболее сильными соседями. С днепровскими кривичами ему предстояло увидеться по пути на юг, а в Плесков, на запад, пришлось ехать отдельно.

Он был даже рад этой необходимости: все же легче для начала проделать путь довольно известный, протяженностью в каких-то десять дней. Тот же, что ему предстоял еще до осени, уже очень скоро уводил в неведомое. До Киева уже не первый год ездили из Холмогорода торговые люди, и сам Ингер в последние два года снаряжал их в путь, но и они казались ему какими-то особенными людьми. А теперь ему предстояло стать таким и самому.

– Так это что же, – постепенно и Стремислав осознал значение услышанного, – ты теперь и Холмогородом, и Киевом один владеть будешь?

Ингер снова кивнул, будто говоря: ты правильно понял. Даже слегка прикусил губу, чтобы не улыбаться, но от этого его ясное лицо приобрело выражение мягкой насмешки над столь невиданным счастьем.

– Это у тебя земля-то будет... – в голове у Стремислава не помещались такие просторы, – от Ладоги до... докуда же?

– Между Полянской землей и морем Греческим еще углички живут да печенеги хаживают, а далее уж болгары. До Греческого моря не достают Ельговы владения, но только полпути.

Двое киян кивали, подтверждая.

Стремислав молчал, лишь покачивал головой. Трудно было представить сам этот путь протяженностью в пару месяцев. А уж вообразить эти просторы как владения одного-единственного князя... и не какого-нибудь полника-исполина, а отрока восемнадцати лет...

Однако отрок этот носил на боку варяжский меч огромной стоимости, что сразу давало знать его высокий род и особую судьбу. Почти как месяц в затылке у божественного дитяти.

– Это я будто баснь какую слышу, – честно признался Стремислав. – Так вот сразу и в толк не возьмешь.

Ингер слегка развел руками и мягко улыбнулся. Ему и самому все казалось, будто он слушает сказание о каком-то другом молодце – сыне Солнца и Зари, а не о себе. Но время не ждало, судьба звала в дорогу, и он шаг за шагом все дальше заходил в это сказание.

## Глава 2

Пару дней спустя Стремислав устроил пир в честь гостя, и там Ингер наконец увидел княжеских дочерей. Для голодного весеннего времени пир вышел недурным: отроки закололи свинью, наловили рыбы, настреляли уток и гусей. Хлеба в эту пору было мало – в иных родах его не видели уже месяца два-три, – и князь сам делил немногочисленные караваи, рассылая каждому гостю его долю. Народу собралось густо, «гостисто», как здесь говорят: старейшины съехались со всех окрестных волостей, на несколько дней пути, кто успел прослышать и добраться. Все надели праздничные беленые рубахи с узкими полосками вытканного узора на вороте и рукавах, белые насовы<sup>6</sup> с узкой черной окантовкой, узорные тканые пояса. Вдоль бревенчатых, украшенных венками свежей зелени стен виднелись рядами лица стариков и мужчин средних лет, расчесанные бороды – седые, русые и рыжие, внимательные глаза. Было даже трое-четверо чудинов с западного берега Чудского озера: тот край уже лет сто был подчинен Плескову и платил ему дань. Всем хотелось поглазеть на молодого князя Холмогорода, которому предстояло вступить во владение еще и далекими полуденными землями.

Каждый невольно соединял взглядом Ингера с дочерью Стремислава. Ни о чем таком не объявлялось, но при виде неженатого отрока и юных девиц мысль о сватовстве приходила сама собой. Дочерей у князя было две, одна на пятнадцатом году, вторая на год младше. В невесты годились обе, хотя младшую, Любонегу, княгиня предпочла бы еще хотя бы годик подержать при себе. Девушки были очень похожи друг на друга, с милovidными округлыми личиками, только у старшей волосы были русые, а у младшей – светлые. Они везде ходили вместе и почти казались одним целым; сидя за женским столом в обчине наискось от Ингера, они метали в него одинаково любопытные взгляды, как будто собирались взять его в мужья обе вместе. Одеждой – сорочками, красными поневами и белыми широкими вздевалками из тонкой белой полушерсти – они почти не отличались от других девушек в Плескове, но очелья их были обшиты красным шелком, на висках блестели серебряные колечки, а на груди – стеклянные и сердоликовые бусины, немалое сокровище, привезенное из дальних сарацинских стран. Благодаря такому богатству каждая выступала, будто заря среди звездочек, и приятный звон серебра указывал всякому: эти девушки не простые. Шелк и бусы плесковские торговые люди закупали или в Холмогороде, или в Смоленске на верхнем Днепре, дальше того они сами, не имея договоров с иноземными царями и каганами, не ездили.

Плесковичи рассматривали холмоградцев, а больше того двоих приехавших с ними киевских бояр. Кияне оказались на вид люди как люди, только выговор непривычный и одежда диковинная: для пира оба надели греческие кафтаны, на вороте и рукавах отделанные узорным шелком, красным и зеленым. В таком же кафтане (несколько ему широковатом) сидел и Ингер – послы привезли в дар. Стремиславу Ингер ради дружбы поднес широкий плащ из тонкой красной шерсти, обшитый по краю узорным синим шелком – он назывался мантион, и князь немедленно в него облачился поверх насова. Кияне рассказывали, что эти одеяния, совсем не похожие на привычные славянам, им достались как добыча из давнего похода князя Ельга в царство Греческое. Заговорили о Ельге, Ивор заново принялся рассказывать тем, кто не знал, как много лет назад Ельг явился с дружиной из-за Варяжского моря, осел первоначально в Ладоге, потом отдал замуж за Хрорика в Холмогород свою сестру, а сам ушел на полуденную сторону, как одолел тех варягов, что за полвека до того обосновались в Киеве, и сам стал там править.

---

<sup>6</sup> Насов – архаичный вид мужской верхней одежды, имеет вид широкой рубахи из белого холста, надеваемой поверх сорочки.

Ингер больше молчал: он родился уже после ухода Ельга на юг, никогда его не видел и знал только понаслышке. На него посматривали взыскательно, будто оценивали, будет ли он достоин своего родича, сумеет ли удержать в руках его богатое наследство? Никто не беспокоился об этом больше самого Ингера, однако никто не догадался бы об этом по его невозмутимому лицу с приветливым и внимательным выражением. Он лишь немного хмурился, но усилием воли разглаживал лоб. Шум пира, дымный воздух общины быстро утомили его, хотелось прилечь, и он с тайным нетерпением ждал, когда все нужные слова будут сказаны и обряды выполнены.

Вот Стремислав во главе стола поднялся на ноги; княгиня тоже встала, с таким многозначительным и довольным видом, что все вновь воззрились на двух девушек. Получив в подарок расписное греческое блюдо, стоявшее теперь перед ней, княгиня уже парила на крыльях воодушевления, будто вот-вот ей поднесут все сокровища заморских цесарей. Взгляд Стремислава был устремлен на Ингера, и молодой гость тоже встал, держа свою чашу – деревянную, с тонкой оковкой серебром по краю.

– Послухи<sup>7</sup> вы днесь, мужи плевсковские, – начал Стремислав; все затихли, ожидая продолжения, и тоже приняли важный вид, – да будут послухами боги, – он приподнял рог с медом на вытянутых руках, – и чурь наши, – обернулся к очагу, где высилось три деревянных столба с вырезанными лицами, – что ныне подкрепляем мы докончание наше с Ингером, Хрориковым сыном. Будет он в Холмогороде, или в Киеве, или еще где – мы ему друзья, соседи добрые, на его земли не заримся, никакой вражды не допускаем.

– Я же клянусь и богов в послухи призываю, – в ответ произнес Ингер, – что, как сяду в Киеве, гостей из земли Плесковской, Стремиславом присланных, буду принимать как друзей, пристанище давать и в город допускать, чтобы торг вели, как им пожелается.

Плесковичи оживленно загудели. Все знали, что в Холмогороде или в Смоленске дары земли – мед, воск, всевозможные меха и шкуры, а то и полон, взятый в дальних чудских землях, – можно сменять на заморские богатства: красивейшие узорные ткани, серебро, яркие бусины, расписную посуду, хорошие железные изделия, бронзу, медь, соль... Заморскую торговлю вели варяги, люди того или иного князя, имевшего договора с цесарями, но чем дальше везли товар, тем дороже он стоил. В Киеве же, где ближе от Греческого царства, куницы и бобры должны стоят дороже, а шелка и бусы – дешевле. Обзавестись договором с киевским князем было полезно и выгодно, и заключенное соглашение несло благо для обеих сторон. В обмен на эти возможности Стремислав обещал Ингеру безопасность оставленных без князя словенских земель, по крайней мере, со своей стороны.

– Приносим клятву межей не нарушать, – продолжал Стремислав, – бортей не перетесывать, скота не угонять, лова в его земле не деять. Ну, только если отрок какой девку с той стороны умыкнет, это как водится, за то с нас спросу нет!

Он улыбнулся, и по общине пробежал понимающий смешок. Женитьбы «уводом» или «убегом» случались постоянно, и между разными племенами, и внутри каждого; в нынешние времена они уже не служили поводом для кровной мести и заканчивались примирением родов. И снова все взоры обратились к Ингеру и двум девушкам; понимая, о чем все думают, те еще сильнее покраснели и потупились, под столом держась за руки, будто разлука грозила им прямо сейчас. Казалось, обоим князьям теперь только и оставалось, что объявить о скреплении своих договоренностей родством.

– А ты-то, княже, – с усмешкой сказал Беломир, один из старейшин, – не опасешься ли за овечек своих? Куда ж отроку в такую дальнюю дорогу без жены? Кто его в чужом краю приветит, приголубит?

---

<sup>7</sup> Послухи – свидетели при заключении договора, клятве и так далее. «Послухи вы днесь» – приглашение засвидетельствовать что-либо в юридическом смысле.

– Больно молоды мои дочери, чтоб в такую даль от родителей уезжать, – Стремислав покачал головой. – Мы их не торопим. Не объели нас пока.

На крайнюю молодость невесты ссылаются, когда не хотят отпускать ее из дома. Неужели Стремислав отказал в сватовстве? Глаза со всей общины устремились на Ингера – а он что? Ингер тоже был довольно красен и выглядел немного растерянным. В его заломленный русых бровях, в глазах под черными ресницами появилось выражение страдания.

– Не в пору мне... – начал он и посмотрел на Ивора, – чужих овечек...

– Мы-то не слепые, видим, где есть невесты хорошие, лучше всех, – пришел ему на выручку кормилец, – да спешить нам не с руки. Сперва осмотреться надо, вызнать, что за земля там, в Киеве, каков дом, а потом уж и хозяйку вести.

Ингер кивнул, соглашаясь, и с облегчением сел. Но Ивор продолжал смотреть на него с беспокойством: Ингера как будто пробирала дрожь, он с трудом сидел прямо, а голова его все клонила над столом.

– Это вы верно рассуждаете, – согласился Стремислав. До этого ни гости, ни хозяева, к разочарованию княгини, даже не заводили разговора о сватовстве. – Что там за люди еще... Не будет ли, гляди, еще каких там охотников до Ельгова стола...

– Я – сын его родной сестры, его единственный законный наследник, – Ингер понял голову и гордо выпрямился, хотя казалось, это стоило ему труда. Его опущенная рука стиснула покрытое тонким серебряным узором навершие меча, пытаюсь почерпнуть твердости у своего оружия. – Все имение свое, стол и земли Ельг оставил мне. Я опозорил бы дедов своих, если бы отступил от своего права. Мой род ведется от богов. Я могу перечесть всех моих пращуров, до самого Одина. Ничье право в Киеве не может быть выше моего. Ничто не заставит меня отступить... Боги на моей стороне, и ничьим рукам удачи против меня не будет.

– Так, так, – Стремислав одобрительно кивал. – Своего отдавать не годится. Но с таким делом, – он оглянулся на дочерей, – поспешать не следует. Ты осмотришься. А как устроишься в Киеве как следует, так, если надумаешь, и присылай...

Ингер кивнул и, посмотрев на девушек, заставил себя улыбнуться. Более определенных договоренностей сейчас не желали ни гости, ни хозяева. Мысль о том, чтобы породниться с юным соседом, у Стремислава исчезли, едва он услышал о смерти Ельга киевского. Выдать дочь в Холмогород, куда дорога известна и занимает дней семь-десять – это одно. Совсем другое – отослать юное дитя с таким же юным супругом в края чужие и неведомые, где ждет невеста что. Как примут Ингера кияне, сумеет ли он утвердиться на столе своего покойного родича? Пути до Киев месяца полтора-два – только доехать до места благополучно уже будет большой удачей, а потом ведь начнется самое трудное. Не желая подвергать дочерей опасности дороги и неверного положения, Стремислав не дал бы разрешения на свадьбу, даже если бы Ингер о том попросил. Не хотел он и обручения: худо для девы оказаться невестой жениха, которому грозит смерть. Сгинет там, в земле Полянской, и станет с того света приходить, пытаться свою нареченную с собой утянуть.

Но Ингер вовсе не собирался об этом просить. Кое-что говорило в пользу этого решения: женатый молодец совсем не то, что отрок, да и заручиться родственной поддержкой плесковичей перед отъездом было бы полезно. Выехав в чужую землю, он постоянно ждал здесь чего-то невиданного, а ведь главное, что привозят из чужих краев – это невеста, волшебная дева, летающая на лебединых крыльях. Ингер был бы вовсе не прочь найти себе такую, но плесковские девушки, пожалуй, для этого выглядели слишком обыкновенно. Они так же не подходили к его будущей судьбе, как мешковатый насов беленого льна, надетый на их отце, не подошел бы обладателю киевского стола. Вернее, и киевского, и холмоградского разом. Уже с месяца Ингер знал о переменах в своей судьбе, но и сейчас еще у него кружилась голова при мысли о предстоящем. Чтобы окинуть взглядом его будущие владения, пришлось бы подняться к самым божественным престолом, где сидят Один и его сыновья. За эти дни, думая об огром-

ности этих просторов, Ингер сам себе казался все больше и больше. Теперь он был рад, что не успел жениться. Ему понадобится какая-то особенная жена. Прекрасная, мудрая, ведущая род от богов. Совсем не похожая на дочерей Стремислава.

У Ивора, сведущего его кормильца, имелись и более приземленные доводы против того, чтобы свататься в Плескове. Не требовалось большой мудрости, чтобы понять: жениться Ингеру надо будет в Киеве. Может быть, на дочери какого-нибудь из знатных киевских варягов из Ельговой дружины или полянских бояр. Может быть, свататься в семье кого-то из яских, древлянских, уличских князей – Ингер пока и не знал толком, с кем по соседству ему придется жить. Для этого решения сначала требовалось осмотреться, понять, чем Полянская земля дышит, кто имеет вес в ней и по соседству. Но ясно было: жена из Плескова в Киеве принесет мало пользы и только помешает стать своим. Поэтому на дочерей Стремислава Ингер смотрел как на тех, кого больше никогда не увидит.

– Ты гляди, он еще в Царьграде себе невесту высватает! – крикнул кто-то из плесковичей. – У самого тамошнего князя, как его там?

– Цесарь там, – поправил киянин Светлой.

– Ну вот. Цесарь. Есть у него дочери-девицы?

– Бывало уже и такое, – кивнул Светлой.

– А хотите, песнь вам спою про то, как князь наш Кий на обрив ратью ходил? – оживленно предложил его товарищ, Братимил.

В общине одобрительно зашумели. Братимил привез с собой гусли и не раз уже пел старинные песни о походах и подвигах былых времен, знакомя Ингера с прошлым той земли, где тому предстояло жить. Молодой князь уже слышал сказания о Кие, о деве Улыбе, о борьбе его и братании с хазарским князем Хоривом, о победе над Змеем, которого Кий запряг в плуг и пропахал между-борозду между человеческим миром и змеевым Подземьем. Теперь же речь зашла в войне Кия с обрами, что много раз делали набеги на славян днепровского правобережья.

Разбудил Кий удалых добрых молодцев,  
«Гой вы еси, дружина хоробрая!  
Не время спать-почивать, пора вставать!  
Пора вставать, в путь-дорогу выступать.  
На тое-то царство Оборское!»  
И пришли они к стене белокаменной,  
Крепка стоит стена белокаменная,  
Шире леса стоячего, выше облака ходячего,  
Ворота у города железные,  
Крюки-засовы все медные,  
Стража стоит могучая денно-нощно...

Братимил певцом был неплохим, Ингер это признавал, хотя Поозёрье славилось гуслирами и он с детства часто слушал лучших из них. Пять бронзовых струн то звенели, то рокотали, подражая грозному стуку войска в ворота вражеской крепости и звону оружия. Но сегодня искусство его не радовало Ингера: звон слишком сильно отдавался в голове, будто те давние сражения проходят прямо у него между ушами. Голова с утра побаливала и была тяжелой; теперь же, в полутемной общине, где раздавалось пение, она сделалась неподъемной. Ингер старался держаться прямо: а то засмеют, скажут, собрался за киевский стол парень бороться, а самого гусли с ног свалили!

Кий берет царя за белы рученьки,  
А славного царя обринского Бойтаула Жупановича,

Говорит ему Кий таковы слова:  
«А вас-то царей не бьют, не казнят».  
Ухватил его правой рукой за праву рученьку,  
А левой рукой за леву ноженьку,  
Да и разорвал царя напололам,  
Да и разметал клочки по полю по чистому...

Ингер старался слушать, но сосредоточиться не мог; его пробирал озноб, так что даже зубы постукивали. Он хотел отпить из своей чаши, чтобы согреться, но запах вареного меда чуть не вызвал тошноту. Старался дышать глубже, чтобы прийти в себя, но вдохи отдавались в груди острой болью.

На воздух бы, подумал он, боясь, что до конца Киевских подвигов ему тут не досидеть. Но как выбраться? Чтобы встать из-за стола, ему пришлось бы поднять весь ряд своей дружины, а потом человек десять плесковских старейшин.

– Ты чего клонишься? – шепнул ему Ивор. – Не спи!  
– Я не сплю, – прошептал Ингер. – Хочу... на воздух...

Ивор озабоченно огляделся: он видел, что с воспитанником его творится нечто странное, но как встать у всех на виду, не дослушав песнь!

Тут Кий сам царем настал,  
Взявши молодую царицу Бойтаулову,  
Молодую Светлолику Баяновну...

Две княжеских дочери слушали, смущенно опустив взоры и слегка улыбаясь: они сами были из тех дев, с чьей рукой передают престолы. Старшая бросила из-под ресниц взгляд на молодого гостя... и вдруг изумленно расширила глаза, позабыв о скромности.

В миг наивысшего торжества Кия над обрами Ингер вдруг наклонился над столом и лег лбом на скатерть. Кудри его русые рассыпались по столу, и больше он не шевелился.

Отчаянно, резко звякнули струны и смолкли.



– Вот не было печали! Ровно сглазил кто! – причитал Стремислав, сидя у себя в избе. – Слышь, мать!

– А! – Княгиня, рывшаяся в большой укладке, разогнулась и повернулась.

– Ты что хочешь делай, но мне его на ноги подыми! Ведь скажут: отравил Стремислав гостя молодого! У меня на пиру посидел, моего хлеба поел – и того, к дедам отошел!

– Кто же скажет! – княгиня негодуяще всплеснула руками. – Ты сам не тот же хлеб ел, не из той же бочки мед пил?

– Найдутся злые люди! Скажут, задумал Стремислав отрока-сироту извести и землю его захватить! В гости зазвал и отравил!

– Да он сам приехал!

– Сам, не сам... А я только перед тем клятву принес перед людьми и богами, что зла ему не мыслю! Опозорен буду я и весь род мой! Боги проклянут!

– Да чего же проклянут – боги-то знают, нет на нас вины! Ну, а что я сделаю? – Княгиня села на укладку; у ног ее лежали два-три полотняных мешочка сушеных трав. – Водяная лихо-

радка у него или повесенница<sup>8</sup>. Коли судьба – исцелится, выживет. А коли нет, кто же против судьбы силен?

– А может, сглазили, – вставила челядинка, княгинина ключница. – Отрок молодой да пригожий – живым и неживым зависть сердце гложет...

С пира Ингера перенесли в другую обчину, где холмоградцы ночевали, и уложили на скамью. Он был почти без памяти и горел от жара. Гости разошлись в большом смятении: после всего, что было сказано и подумано, внезапная хворь молодого гостя показалась таким же дурным знаком, как если бы молния ударила прямо посреди святилища. Что это значит? Один из князей солгал о своем желании дружбы? Или Ингер неугоден богам, родством с коими похвалялся? Или правда сглазили, завидуя его юности, красоте и великой доле?

Не перекинется ли беда с холмоградцев на плесковичей, разделившими с ними хлеб?

Княгиня пообещала Ивору, что немедленно найдет целебных зелий и пришлет с бабами, сведущими в лечении. Она еще не отошла от мысли со временем увидеть в Ингере будущего зятя и сейчас тревожилась о нем почти как о родном сыне.

Присланные княгиней женщины сделали отвар зимолубки, избавляющий от жара, и Ивор сам поил молодого князя. Того трясло от озноба, и его закутали в несколько шкур. Еще принесли липовый цвет, развели отвар с медом и тоже поили на ночь. Ивор не сомкнул глаз до утра, когда его сменил Ратислав, но лучше Ингеру не стало. Утром и вечером жар спадал, но к полудню и полуночи опять поднимался. Княгиня сама убедилась в этом, когда назавтра пришла проведать гостя. Вернувшись домой в Плесков, она уже не улыбалась: и впрямь умрет молодой гость у них в доме, вот сраму-то будет!

На вторую ночь жар усилился; Ингер ворочался в беспамятстве и что-то бормотал. Но Ивор, склоняясь к нему, ничего не смог разобрать: только слово «блеск» или «плеск». И еще «голова моя».

– Зови каких знаешь волхвов и вещих людей, уж верно сыщется кто-нибудь помудрее, – строго наказал жене князь. – Если сама не справишься.

– Да я уже за Немькой в Озерище послала, а Бажана с вечера при нем сидит. Кого ж еще?

– За Грачовой женой нехудо бы еще послать, – подсказала ключница. – Она, говорят, лихоманки ловка изгонять.

– И верно! – обрадовалась княгиня. – За Грачихой пошлю. Да, отец?

– Только пойдет ли она? – добавила ключница. – Не ко всякому идет, Грачиха-то.

– Да уж пусть так попросят, чтобы пошла, – встревоженный Стремислав почти рассердился. – Не на игрище кличут! Князь, скажи, зовет!



И в тот день, и в следующие в Выбутах много говорили о холмоградском князе. Его молодость и красота поразили не одну Прекрасу – хотя, пожалуй, никто другой не принял их так близко к сердцу. Много толковали, зачем он едет в Плесков, но даже Хрок, единственный, кто с ним разговаривал, этого не знал.

– Кто я такой, чтобы у чужого князя о его делах допытываться? – отвечал он любопытным. – Лодьи перевели, за проход уплачено, а прочее не мое дело.

– Он, видно, к Стремиславу свататься поехал, – заметила мать. – К чему бы еще? Он парень молодой, а у нашего две дочери-невесты.

Простое это соображение прошло по сердцу Прекрасы, будто острый нож. Что тут возразишь? Все ее мысли сосредоточены были на ожидании того дня, когда Ингер со товарищи поедет обратно. Она как будто ждала возможности снова увидеть само солнце вблизи – ходя-

---

<sup>8</sup> Повесенница – весенняя лихорадка.

щим по земле в белой «печальной» свите и в сиянии русых кудрей. И ожидание это было так огромно, что за пределы того дня она не заглядывала.

Чего она ждала? Да ничего. Ни подойти к нему, ни слово сказать она даже не думала. От мысли о том, чтобы случайно попасться ему на глаза, Прекрасу пробирала дрожь, как будто взгляд его мог ее убить. Нет, она хотела еще раз полюбоваться им издалека, увидеть, как двигаются его губы при разговоре с ее отцом, как улыбка освещает его ясное лицо...

И все же догадка, что Ингер поехал свататься к дочерям Стремислава – очень правдоподобная догадка, – заставила ее сердце болезненно сжаться. Как будто долгожданное солнце затянуло тучкой...

Сколько Ингер собирается пробыть в Плескове, никто не знал, Хроку он об этом не говорил. Прекраса даже надеялась, что это произойдет не очень скоро – ожидание доставляло ей мучительную отраду и она не хотела, чтобы все миновало и осталось позади слишком быстро. День, два, три она ждала почти спокойно – так быстро из гостей не уезжают, – но с каждым следующим днем ее волнение возрастало. Она старалась не отходить далеко от двора, а все время, свободное от дел по хозяйству, проводила у реки, глядя вниз по течению, на брод и полосатые валуны, торчащие из мелкой воды. Так и виделось: вот покажутся лодьи, и в одной она разглядит белое пятно его свиты... И тогда... Весь мир переменится, зальется ярким светом, воздух будет полон блаженства его присутствия. Дальше этого мгновения она не заглядывала: и это-то счастье было слишком большим, чтобы вместиться в душу.

Но проходил день за днем, а река оставалась пустой. Вон, долбушка показалась, в ней мужик в длинной серой рубахе. Пристал возле брода, пошел в весь... Зачем это – ни сетей в долбушке, ни даже мешка за плечами у него нет.

И что она сидит здесь, как пришитая? Небось дома матери нужна. Вздохнув, Прекраса отправилась домой. К удивлению ее, в родной избе обнаружился тот самый мужик.

Еще ни о чем не спросив, Прекраса поняла: гость явился с дурной вестью. У отца и матери лица были встревоженные и немного растерянные. Сердце гулко стукнуло: что случилось? Родни у них не было, злых вестей ждать неоткуда.

Мужик выглядел недовольным и явственно хмурился.

– Я человек подневольный, – снова начал он речь, которую Прекраса прервала своим появлением. – Мне что велено передать, то я передал. Один ворочусь – буду ответ держать, так и скажу: волю твою, княже, я Грачу довел, а жена его ехать к тебе не желает...

– Я не сказала, что не желаю, – терпеливо, видно, не в первый раз ответила Гуннора. – Скажи князю: я спрошу у плеска. Если можно его излечить, то приеду. А если нет воли судениц – и толку нет ездить.

– Недоволен будет князь, – все еще хмурился мужик.

– Я не суденица! – Гуннора развела руками. – Жизнь и смерть людская не в моей власти, я лишь волю богов передаю. Коли скажут водяные девы, что князь будет здоров – завтра на заре в путь пушусь, к полудню буду.

– Ну, я так передам... – хмуро ответил челядин, которому явно не хотелось возвращаться к господину с неуспехом поручения. – Что завтра к полудню будешь.

Слегка поклонившись хозяевам, он вышел. Прекраса удивленно взглянула на родителей. Стремислав захворал? Как всякому живому человеку, князю порой случалось быть нездоровым, но никогда еще княгиня не посылала по этому случаю за Гуннорой! У них в Плескове свои *знающие* есть.

– Недаром, знать, он про плеск мне поминал, – обронил Хрок, глянув на жену.

– Кто?

– Да он. Князь молодой.

– Про плеск поминал? – Гуннора недоумевала, а Прекраса и подавно, к тому же она начала тревожиться сильнее, чем поначалу. – Когда?

– А вот в тот день... как в лодью садился. Спросил меня, что в наших краях значит «плеск». Ну, я сказал ему.

Некоторое время все молчали, обдумывая это известие и чувствуя за ним какое-то весомое и грозное значение.

– Это, видать... по пути с ним говорил кто-то... – пробормотала потом Гуннора. – Или во сне привиделось. Что-то он знал о судьбе своей...

И по лицу ее было видно: недобрая это судьба.

– Так вы о ком говорите? – перевозмогая дрожь и гул в груди от смятенно бьющегося сердца, спросила Прекраса.

– Князь холмоградский, что проезжал здесь, захворал, – пояснила мать. – Прямо на пиру на стол упал, будто пьяный, а сам весь в огне. Со вчерашнего лежит, не встает, в полубеспамятстве. Князь испугался, скажут, отравил гостя, велел всех знающих созвать, чтобы непременно вылечили. За мной, вон, тоже человека отправил.

Прекраса села на лавку. Так это не Стремислав хворает! А он! Ингер!

– И что? – она с надеждой взглянула на мать. – Ты поедешь?

Весь разговор перед тем от волнения уже испарился из памяти.

– Что попусту ехать, не зная, чего ждать? – Гуннора развела руками. – Пойду на зорьке вечерней плеск слушать. Скажут водяные девы – жить ему, так поеду. А не скажут... К чему тогда ехать – еще виноватой выйду. Опять...

Гуннора насупилась. Прекраса знала, что жизнь их дома началась с довольно страшной саги. Когда-то, до ее рождения, в Плескове княжил Боронислав, старший брат Стремислава. Гуннора, тогда еще девушка, дочь уважаемой в Плескове ведуньи, уже тогда была известна как лекарка. Когда князь захворал, она поначалу согласилась помогать в его лечении. Трижды она ходила слушать водяниц, и трижды они предрекли князю смерть. Тогда Гуннора отказалась лечить, чтобы не быть после обвиненной в этом несчастье. Когда Боронислав вскоре все-таки умер, княгиня, его жена, обвинила Гуннору, потребовала суда и казни. Стремислав, занявший место брата, в вину Гунноры не верил, но велел ей покинуть город. Она уехала на брод и тут вышла замуж за Хрока. С тех пор мать была вдвойне осторожна и не приближалась ни к кому из больных, не получив ответа от водяных дев о его судьбе.

Прекраса молчала; внутри у нее все заледенело. Она хорошо знала этот материнский обычай, но сегодня он приобрел такой жуткий смысл, какого она никогда раньше за ним не сознавала. Раньше речь шла о жизни и смерти других людей – иногда знакомых, из Выбут, а чаще совсем чужих. Никогда раньше Прекрасе не приходилось тревожиться о ком-то, кроме обитателей родной избы.

А теперь речь шла о нем – о красном солнце, о ясном месяце в облике молодого холмоградского князя. Это *его* жизнь и смерть уже ведают девы у брода. И если они скажут, что нить его оборвана... она, Прекраса, больше никогда не увидит его. Юное солнце погаснет.

И все решится уже вот-вот, на вечерней зорьке.

Прекраса глянула в оконце: на земле двора лежали длинные тени, указывая на угасание дня.



Солнце садилось за спиной, позади Выбут, когда Гуннора, подобрав подол, осторожно перебралась по камням через широкий брод и уселась на восточном берегу Великой, на камне у края воды. На правом берегу никто не жил, но отсюда виднелись соломенные и дерновые крыши Выбут за рекой. Издали доносилось чуть слышное пение – шла пора весенних гуляний молодежи, и по вечерам девушки собирались у березовой рощи либо у Русалочьего ключа, пели и плели венки. Обычно Прекраса тоже ходила туда – дочери самая пора идти замуж, –

но в этот вечер она сидела грустная и встревоженная, сказала, что никуда не пойдет и будет ждать возвращения матери.

Большой камень одним боком лежал на песке, а другой его бок омывался речной водой. Гуннора уселась, свесив ноги, сняла с головы убрис, волосник и расплела косы. Никогда замужняя женщина не показывает волос вне своей избы, кроме таких вот случаев – когда нужно призвать иные силы. Но никто не увидит: кроме девушек у рожи, прочие жители на вечерней заре в русалочьи дни сидят по домам, избегая опасных встреч.

Не гулял бы молодой Ингер в одиночестве у воды на заре вечерней – и его бы не задело...

Распущенные волосы упали двумя волнистыми потоками. И мать Гунноры, и бабка славились своими волосами и вовсе не случайно отличались мудростью и умением слышать Дев Источника. У Прекрасы тоже хорошие волосы, лучше, чем у любой девки в Выбутах...

Из кожаного кошелька на поясе Гуннора достала гребень и стала медленно расчесывать пряди, смятые в косах. Сюда доносился шум воды у порогов, не умолкавший ни днем ни ночью, привычный, как ветер и воздух. Прислушиваясь к нему, Гуннора начала приговаривать вполголоса:

Матушка-Вода, Государыня-Вода,  
Бежишь ты по камушку белому,  
От светлого дня до темной ноченьки,  
От зари утренней до зари вечерней,  
Ни сна ни отдыха не ведаешь,  
Обмываешь берега свои крутые!  
Не обмой-ка ты крутые берега,  
А скажи-ка мне судьбу младого отрока,  
Ингера, сына Хрорикова.  
Сколько ему лет летовать,  
Сколько ему зим зимовать,  
Скоро ль ему свадьбу играть,  
Скоро ль малых детушек водить,  
Или ему на белом свете не живать,  
Во сырой земле лежать...

Приговаривая, она все расчесывала волосы, чутко прислушиваясь к далекому шуму воды. Этот способ проведать будущее был известен в Выбутах давным-давно, но Гуннора славилась верностью своих предсказаний, полученных у брода.

Гребень ровно скользил в ее руке по светлой волне волос, и казалось, что их мягкое движение сливается с колебаниями речной волны под камнем. Закончив, Гуннора помолчала, вслушиваясь, потом снова начала:

– Матушка-Вода, Государыня-Вода...

Солнце уже село, лишь самый краешек торчал из-за синего окоема и разлитый по небу багрянец еще отмечал сторону, где оно погружалось в сумрачные воды Подземья. Вода тоже казалась почти черной, на западном берегу над кустами сгущалась мгла.

Проговорив призывание в третий раз, Гуннора закрыла глаза и стала слушать. В ровный шум воды у перекатов вплеталось далекое пение девичьих голосов, будто поет сама вода. Не открывая глаз, Гуннора продолжала медленно водить гребнем по волосам. Вода плескала возле камня у ее ног, над рекой пронесся порыв ветра... И где-то там, где шум воды вливался во тьму изначальной бездны, возникли слова, выпеваемые протяжным заунывным голосом:

Ой, резвы ножки подломилися...

Ой, ясны очи замутились...  
Ой, что тебе не прилюбилось...  
Ой, что тебе не приглянулось...  
Что ты покинул родну матушку,  
Мое дитятко бажоное<sup>9</sup>...

Гуннора слушала; рука ее с гребнем замерла. Но сколько она ни вслушивалась, раздавались все же унылые строки погребального причитания над юным сыном. Ой, резвы ножки подломились...

Накатил озноб – будто повеяло стылым духом земли из только что открытой могилы. Медленно Гуннора открыла глаза, невольно подергивая плечами. И увидела. Напротив нее, на таком же валуне – наполовину в воде, наполовину на земле – сидела некая... вроде бы женщина, но удавалось разглядеть только белую сорочку и густую волну русых волос. Волосы закрывали лицо, а рука медленно водила гребнем по прядям, спускавшимся до самой воды... Но стоило моргнуть – и женщина превращалась в белую птицу-лебедя, что сидит на камне, сложив крылья. Пристальнее вглядываться нельзя – она исчезнет и душу живого унесет за собой.

Это была она – водяная дева, бродница, хозяйка этих мест. Это ее голос день и ночь шумел на перекатах, и ей два раза в год приносили жертву ради милости, чтобы не губила людей, скота и лодок. Выйдя на зов, она ответила на тот вопрос, который ей задали.

– Плеск есть – есть и голова... – пролетело в порыве ветра над водой.

Гуннора снова опустила голову и отложила гребень. Казалось, что вокруг очень холодно. Дрожа, она слезла с валуна и встала на песок, спиной к воде. Шепча оберег, заплела волосы, уложила на голове, покрыла волосником и потом убрусом. Дрожь отступила. Потерев ладонями плечи, Гуннора обернулась. На том берегу уже никого не было видно, валун стоял пустой.

Забрав гребень, она тронулась через брод назад, на свой берег. Проходя мимо валуна, где сидела бродница, поклонилась и положила моток выпряденной шерстяной нити.

И только когда Гуннора уже шла по своему берегу к Выбутам, озноб окончательно оставил ее и она вновь ощутила тепло весеннего вечера.

Девичье пение у роши уже смолкло, последние отблески заката угасли среди вод Подземья.



В избе совсем уже стемнело, когда наконец на крыльце послышался легкий стук шагов. Гунька (его настоящее имя тоже было варяжским – Гуннар) уже спал на полатах, но Хрок и Прекраса ждали: отец сидел в потемках у стола, а дочь – на укладке со своим приданым. Оба молчали.

Когда скрипнула дверь, Прекраса вздрогнула. Сердце оборвалось: сейчас она узнает, жить ей или умереть. Молодой князь Ингер лежит в Плескове больной, его лечат, отыскивают ему умелых ведунов, заваривают зелья, но судьба его уже решена. И если его нить оборвана, то все хлопоты напрасны.

Мать вошла, плотно затворила за собой дверь. Она еще только направилась к столу, чтобы взять ковш и черпнуть воды из ведра, а Прекраса уже знала, с чем та пришла... Просто знала, будто каждое движение матери говорило: ему не жить. Она была вестницей смерти, и Прекрасе виделись овевающие ее черные тени. Будто не мать родная в дом вернулась, а черная лебедь Мары...

---

<sup>9</sup> Бажоное – любимое.

Гуннора выпила воды из ковша, села возле отца на лавку, сложила руки на коленях и испустила глубокий вздох.

– Худо дело, отец, – сказала она то, что оба слушателя уже знали. – Бродница... причитала по нем. Не встать ему.

Прекраса прижала ладонь ко рту. Глаза сами собой расширились, будто готовясь извергнуть потоки слез, но она не смогла заплакать – грудь сжало, как будто на нее камень навалился.

– И как мне быть теперь? – продолжала Гуннора. – Не поеду – князь огневается, а поеду – отрок у меня на руках умрет. Так и этак виновата выйду.

– Не езд, – решительно ответил отец. – Скажем, сама захворала.

Прекраса молчала. Ужас, горе, недоверие смешались в душе и не давали произнести ни слова. Неужели совсем нельзя помочь? Нельзя, отвечала она сама себе. Бродница никогда не обманывает. Если в ответ на вопрос о судьбе слышится погребальный плач – умереть тому человеку еще до истечения года. Не раз уж такое было. Потому люди боятся бродницу вопрошать.

На глазах закипали слезы. Несправедливость судьбы Прекраса ощущала как острую боль. Как жестоки суденицы! Жестоки и злы! Зачем им понадобилось погубить Ингера – молодого, прекрасного, знатного родом, уже получившего холмоградский стол! Неужели даже боги способны испытывать зависть?

Не желая, чтобы родители заметили ее слезы, она быстро скользнула на полати, где уже посапывал Гунька, и отвернулась к темной стене. Мысль судорожно искала выход, мечась по сторонам, будто застигнутая в сусеке мышь. Если бродница напророчила смерть, бессмысленно искать каких-то чудодейственных зелий. От Марены нету коренья, как мать говорит. Не пытаюсь заснуть, Прекраса напряженно вспоминала: нет ли какого сказания об избавлении от неминуемой смерти?

Много раз она слышала про «обещанных детей», которых родители от рождения пообещали отдать в услужение к разной нечисти. Бывают проклятые, которых уносит нечисть. Но это все не то.

«Не того сгубила, кто был ей указан...» Прекраса остановилась на этой вдруг всплывшей мысли, пытаясь сообразить, что это такое. Мать рассказывала когда-то... Какое-то из древних преданий их с отцом северной родины, Свеаланда. Что же там было? Прекраса стала вспоминать. По зимам и мать, и отец часто рассказывали им с Гунькой что-то из того, что сами слышали от своих дедов и бабок – тех, что родились за морем, а в землю Плесковскую прибыли уже взрослыми. Это сказание о валькирии, которая спала на высокой горе. К ней пришел Сигурд – самый славный тамошний витязь, и увидел деву, спящую в кольчуге. Он рассек кольчугу мечом, и дева проснулась. Она стала давать ему разные мудрые советы, а перед этим рассказала о своей судьбе. Два конунга вели войну, один был старый, а другой молодой. Старому сам Один обещал победу и послал ту деву, Сигдриву, чтобы она отняла жизнь молодого, Агнара. Но она пожалела его и сгубила старого конунга. На это Один сильно рассердился и уколол ее шипом сна. Так она оказалась на горе...

Дальше Прекрасе было не нужно. Широко открыв глаза, она лежала, глядя в близкую кровлю. Валькирия нарушила волю Отца Ратей и погубила одного из двух соперников не по его, а по своему выбору. А другого, который ей больше нравился, спасла. Значит, посланницы судьбы могут менять волю богов!

Она невольно заворочалась, но сдержалась, опасаясь разбудить брата. Бродница – почти та же валькирия, только без кольчуги и щита. Норны – владычицы судьбы, сами вышли из источника Мимира, чтобы прясть судьбы смертных. И бродница выходит из воды, неся людям их судьбу. Значит, в ее власти что-то изменить!

Осознав это, Прекраса чуть не подскочила. Захотелось немедленно бежать к броду, вызвать бродницу и упросить ее помиловать Ингера!

Но нет, не сейчас – ночью она не выйдет.

Прекраса потянулась и глянула с полатей в сторону оконца, но его не было даже видно в полной тьме избы – стояла глухая ночь. А бродницу можно вызвать на зорьке – или утренней, или вечерней.

Глубоко дыша и стараясь успокоить свое лихорадочное смятенье, Прекраса принялась размышлять. В Плескове мать ждет завтра к полудню: она обещала выехать на заре, если получит благоприятный ответ. Значит, осталась только одна возможность – утренняя зорька, что придет после этой ночи. И тогда, если удастся что-то изменить, мать успеет, когда обещала, и Ингер поправится!

Мысленно Прекраса видела эту зорьку, будто узкую светлую щель в глухой стене злой судьбы. Нужно проскочить в эту щелку, протиснуться, – тогда можно исправить неисправимое.

Лишь бы не оказалось уже поздно! А что если он умрет вот этой ночью? Что если он умирает вот сейчас, пока она лежит здесь и думает о нем? Или уже умер? От этой мысли враз охватила противная холодная дрожь – будто водой внезапно залило, и Прекраса села, спасаясь от этой невидимой воды. Нет, нет, убеждала она себя, тяжело дыша. Не может быть, чтобы уже... Он болен только два дня. Еще есть время вымолить милость у судьбы. Не могут Прядущие у Воды быть так жестоки, чтобы желать гибели этому светлому отроку – единственному истинному князю на свете, вышедшему прямо из сказания!

Опасаясь проспать, Прекраса не пыталась дремать, но ей и не хотелось. Ее наполняла лихорадочная бодрость, жажда движения и борьбы. Только то и томило, что приходилось ждать конца ночи.

Когда пятно оконца начало проступать среди тьмы, Прекраса бесшумно скользнула с полатей. Нашла свой пояс, вздевалку. Потом легко-легко, как невесомый блазень, прокралась к ларю, где была сложена верхняя одежда матери.

Вот ее пояс – из красной и черной шерсти, сотканный на бердышке простым узором. На нем куриная косточка – плесковские женщины носят ее, чтобы легко вставать до зари, – а рядом костяной гребень с резной спинкой, упрятанный в кожаный чехол. Дрожащими руками Прекраса отвязала тонкий кожаный ремешок. Свой гребень, как ей думалось, для этого не годился. Она знала, что делает мать для вызова бродницы, но не была уверена, что у нее получится, если она сделает то же самое. Материнский гребень казался более надежным орудием. Было очень стыдно и тревожно, что она берет без спроса такую важную вещь у родной матери, но единственная цель заслонила в ее глазах все.

Зажав гребень в руке, Прекраса скользнула к двери и осторожно ее толкнула. Нужно спешить – на заре мать встанет к корове и, конечно, обнаружит, что исчез и гребень, и дочь. И поймет, почему они исчезли. Она должна успеть раньше.

Снаружи было лишь чуть светлее, чем в избе, солнце еще не поднялось. Прекрасу охватил озноб от утренней прохлады – все-таки еще не лето, – но вместе с тем она взбодрилась.

Стараясь не шуметь, она плотно прикрыла за собой дверь, села на крыльце и обулась. Потом пересекла двор и исчезла; белая ее вздевалка мелькнула во мраке и растаяла, будто дух уходящей ночи.

Тихий скрип двери нарушил сон Гунноры. Не понимая, что ее разбудило, она повернула голову и, моргая спросонья, взглянула во тьму. Ничего не было ни видно, ни слышно, но ей казалось, во тьме тихой избы остался широкий, ощутимый след неведомой силы...



Нужно сидеть так, чтобы видеть солнце перед собой. Тогда бродница покажется на стороне Иного. Прекрасе повезло, что на утренней заре бродницу следовало ждать на своем, западном берегу, и ей не пришлось переходить реку в предутренних сумерках. В часы пере-

лома это место вдвойне опасно – споткнешься, головой о камень ударишься... и очнешься сама уже бродницей, с речной водой в жилах вместо крови.

Прекраса села на бревно, где отдыхали путники, пешком пересекавшие брод. Идти на камень было еще рано. Она смотрела на восток, на небо, все более светлое, и ожидала первых проблесков зари. Все ее существо сосредоточилось на этом ожидании, весь мир сжался до узкой полоски между нею и водой с торчащими камнями. За сумерками казалось, что ничего другого в мире и нет, но ничто другое ей и не было нужно.

Вода струилась меж валунов – в темноте и при свете, в полдень и на заре, всегда одинаково. И чем дальше Прекраса смотрела туда, тем сильнее ей мерещился ответный взгляд – но не прямой, а откуда-то сбоку. Река наблюдала за ней так же, как она наблюдала за рекой. И те, кто жил в реке, уже знали, почему и для чего она пришла. Они ведь знают судьбы всех людей на свете – и ее тоже. Им уже известно, добьется ли она того, зачем пришла. Нужно было ждать – в этих делах нарушать правила смертельно опасно! – и Прекраса сидела неподвижно, дожидаясь, пока Заря-Зареница возьмет золотые ключи и отомкнет ненадолго ворота между белым светом и Иным, чтобы выпустить солнце. В руках она сжимала гребень матери, как свой, особый ключ. Поможет ли он ей проникнуть за грань? Угадает ли она нужное время? Может быть, есть еще какая-то хитрость, о которой мать не говорила? Ведь недаром такие люди называются *знающими* – они ведают нечто, переданное им «старыми людьми». Нужно знать особые слова... проходить посвящение... а с ней ничего такого не было.

Но разве у нее есть время на все это? Если она не поможет Ингеру сейчас, завтра будет поздно. Третьей ночи ему не пережить.

Было уже довольно светло, когда что-то толкнуло ее: ну, иди же! Чего ты ждешь? Испугавшись, что упустит нужный миг, Прекраса вскочила и кинулась к реке. Встала на камень между песком и водой и стала расплетать косу. Потрясла волосами, расправляя пряди, потом достала гребень из чехла и дрожащей рукой провела по волосам.

Костяные зубчики путались в густых прядях, немного сбитых за ночь. Поначалу Прекраса никак не могла собраться с мыслями, но потом, когда гребень стал ходить легче, заговорила, задыхаясь от волнения:

Мать-Вода! Государыня-Вода!  
Течешь ты по зеленым лугам,  
Омываешь крытые берега!  
Не омойвай ты, Мать-Вода,  
Крутые берега,  
А выйди ко мне, Мать-Вода,  
Послушай моей печали,  
Помоги моему горю...

Она взглянула через реку – нигде не виднелось движения, она была здесь одна. Прекраса сглотнула и начала с начала:

– Мать-Вода! Государыня-Вода...

Гребень легко скользил по волосам, они уже заблестели и мягко шуршали меж костяных зубьев. От волнения теснило дыхание: что если не выйдет? Не отзовется? И эта последняя заря ускользнет напрасно, оставив Ингера во власти неумолимой Марены...

– Выйди ко мне, Мать-Вода...

Вдруг Прекраса ощутила как бы толчок – не то снаружи, не то изнутри. Подняв глаза, она замерла: напротив нее, на середине потока, сидела на камне другая девушка, почти такая же, как она сама. Юная, светловолосая, она опустила ноги в воду и тоже водила гребнем по волосам, повторяя движения Прекрасы. Только волосы ее были куда длиннее и падали концами

в реку. Белая сорочка выглядела свежей, как лепестки «русалочьего цвета», а глаза речной девы смотрели прямо в душу.

Ничего другого Прекраса не могла бы сказать об этих глазах – они влекли и навели жуть, затягивали и подавляли. Одно она сейчас ощущала очень ясно: как велики те силы, что она призвала, как беспомощна она сама перед ними. Ее жизнь и судьба находились во власти этих глаз, шаривших по дальним закоулкам ее души. В них не было зла или угрозы, но они открывали дверь в Иное – в безграничное туманное пространство, способное выпить тепло твоей жизни и не заметить, как море не замечает, если в него падает слеза...

От потрясения словно кровь заледенела в жилах. Прекраса моргнула. Сглотнула, чувствуя, что не владеет языком и не помнит ни единого слова.

«Я пришла, – услышала она, но шепот, похожий на шум воды над порогами, раздался прямо внутри ее головы. – Поведай мне твое горе».

– Ингер... – выдавила Прекраса из пересохшего горла; только об этом она и помнила. – Он... ты сказала, он должен умереть?

«Плеск есть. Голова есть», – ответила речная дева теми словами, какими издавна указывала на скорое получение жертвы.

– Оставь его, – произнесла Прекраса.

Она не знала, какими словами молить речную деву о милости; само то, что она обратилась с такой просьбой, ясно изъясляло, до какой крайности она дошла.

– Оставь ему жизнь, – продолжала она. – Пусть он исцелится. Возьми чего хочешь... что у меня есть.

«А что у тебя есть?»

Прекраса промолчала. Что у нее есть такое, в чем нуждается речная дева? Им подносят в дар каравай, цветочные венки, вешают на ивы новые сорочки, шерстяную пряжу и льняную ткань. Но разве этого достаточно, чтобы выкупить жизнь, да не чью-нибудь, а самого князя?

«Сейчас погляжу», – шепнула вода...



...Прекраса не сводила глаз с девы на камне, не могла даже моргнуть, и все же не поняла, куда та делась. Перед глазами вдруг расплылось, как бывает, если взор заволакивает слезами, но Прекраса не решалась поднять руку, чтобы их протереть. А когда в глазах прояснилось, на камне никого не было. Река текла меж полосатых валунов самым обыденным образом, как всякий день уже тысячу лет.

И вот тут Прекраса ощутила, что последнее время провела, кажется, не на этом свете. Все время, пока длилась беседа, она не чувствовала ни тепла, ни холода, не замечала ветра, не различала никаких звуков, кроме шепота воды. Да и дышала ли она в это время? Теперь все ощущения вернулись, грудь задыхалась, сердце забилося. Глаза жгло. Зажмурившись, Прекраса прижала пальцы к опущенным векам.

«А за смелость награжу тебя особо, – всплыли в памяти слова речной девы. – Вот тебе гребень мой. Как придешь на реку, станешь волосы чесать, позовешь меня – я приду и судьбу любого тебе расскажу. Прощай. Солнце восходит, нельзя мне больше здесь»...

Издали тот камень казался пустым, однако Прекраса поспешно стянула черевьи и вступила в воду. Солнце еще не прогрело мелководье, но Прекраса не заметила холода. Осторожно ступая по каменистому дну, она пробралась к тому камню, где сидела речная дева.

Там, в небольшой выемке на верхушке, лежал гребень. Прекраса не сразу решилась к нему прикоснуться. Он был непохож на те варяжские гребни с составной костяной спинкой, какими многие пользовались в Плескове и в Выбутах, был не собран из костяных пластин, а

словно вырос сам, целиком. Он походил скорее на сделанный из хрупкой рыбьей кости, чем из обычной, коровьей.

Осознание того, что произошло, едва умещалось в голове. Расчесывая волосы над водой, берегини тем самым прядут судьбы человеческие. Оттого их и зовут Прядущими у Воды, хотя ни Прекраса, ни даже Гуннора не слышали, чтобы кто заставлял их на камне с прялкой. Те из смертных женщин, кто подражает им, тоже способны влиять на пряжу судьбы. Оставив ей гребень, водяница поделилась своей судьбоносной силой. Теперь и Прекраса войдет в число «дев источника», Прядущих у Воды. . . Гребень был зримым подтверждением уговора, но Прекраса не верила глазам. Не решалась его тронуть, как будто от касания ее смертных рук этот дар источника растает.

Но это же подарок. Отступить нельзя, а речная дева и сейчас ее видит – как бы не пожалела о милости к такой трусихе. Прекраса осторожно взяла гребень с камня. Прикоснулась к острым кончикам зубьев, и от легкого укола ее пробрала дрожь с головы до ног.

Изменилось все. Она заключила договор с силой, во много раз превосходящей ее человеческую силу. Прекраса не могла сразу осознать все, на что себя обрекла, но само собой пришло понимание: теперь все станет другим. В первую голову – она сама. Она сделалась разом и больше, и меньше прежней: больше – по сравнению с другими людьми, меньше – перед той силой, частью и рабой которой стала.

Но пути назад не было. Даже если она решилась на этот шаг не подумав, время вспять не повернуть, как не догнать вот эти речные струи. . .

Ничего другого, кроме ощущения огромности и необратимости свершившейся перемены, Прекраса сейчас не могла осознать. Она осторожно коснулась холодной поверхности розовато-рыжего камня, выражая благодарность, и побрела назад на свой берег. Там подобрала черевьи и отправилась к дому. Даже не обулась, не заплела косу – для этого пришлось бы выпустить из другой руки гребень, а ей казалось, что он исчезнет, если она разожмет пальцы.

Движение немного подбодрило Прекрасу. Когда навстречу показались первые выбутские коровы и зазвучал впереди рожок Добрилы-пастуха, она уже почти опомнилась. Было совсем светло, зеленая трава блестела под первыми косыми лучами солнца.

Уже утро, сообразила Прекраса, будто проснувшись. А к полудню ведунью из Выбут ждут в Плескове.

### Глава 3

Еще до полудня ключница доложила княгине: явилась девка, Грачова дочь, просит допустить. Княгиня удивилась: к Грачу и правда вчера посылали, но за женой, а не за дочерью.

– Будь жива, госпожа княгиня! – войдя, девушка с длинной светлой косой вежливо поклонилась. – Приезжал к нам вчера человек от тебя, сказал, хворает молодой князь холмоградский, созывают знающих людей. Матушка моя собиралась к вам, да занемогла. Прислала со мной зелие силы могучей. Позволь мне для князя отвар приготовить, и землей-матерью клянусь, скоро будет здоров.

– Ох ты! – Княгиня в удивлении разглядывала юную посланницу. – Грачиха сама занемогла? Вот незадача... Как же быть-то, не знаю...

Колебания ее были понятны: жена Грача славилась своими умениями, но дочь его была еще слишком молода для такого дела. Зелие не поможет без «сильного слова», а заговаривать можно только людей моложе себя, поэтому самые лучшие ведуньи – старухи. Чем старше, чем ближе к «дедам», тем сильнее. А молодая девка – что она может?

Гостья спокойно ждала, сложив руки и опустив голову. Выглядела она опрятно, скромно, только на подоле рубахи княгиня разглядела большое влажное пятно – будто лазила в воду и не успела высохнуть.

– Ты что же, одна из Выбут приплыла? – озадачилась княгиня.

– Одна, госпожа. В долбушке.

– А что же отец не привез тебя?

– Я с долбушкой и сама управлюсь. А отцу недосуг, у него дела много.

На самом деле Прекраса даже не зашла домой – побоялась, что родители не отпустят ее в город, если узнают, что она затеяла. Пришлось бы все рассказывать им, уверять, что теперь Ингер непременно выздоровеет... Поверят ли они ей? Не станут ли сердиться и бранить? Что если посадят дома, велют не воображать себя ведуньей и выбросить Ингера из головы? Захваченная своей целью, она отмахнулась от всех этих мыслей и отвязала отцовский челн, где на дне лежали весла. Выросшая на реке, она хорошо умела управляться с легкой долбушкой, сделанной из цельного ствола ивы. До Плескова недалеко – и пешком за полдня дойдешь, а по реке вниз по течению проплыть и ребенок справится.

Прекраса ничего не ела с утра, причесалась уже перед отплытием, умылась в реке и вытерлась подолом. Но все это ее не смущало: тревоги, надежда, нетерпение поскорее увидеть Ингера и помочь ему наполняли силой и несли вперед. В своем лихорадочном возбуждении она не замечала недосыпа и голода.

Через пару верст она увидела в заводи, на ковре из плотных круглых листьев, похожих на зеленые блюда, три белых огня – первые этой весной белые цветы «русалочьего цвета». Осторожно ведя долбушку между листьев и осоки, Прекраса подобралась к ним вплотную. Осока и прочая водяная растительность шуршала по дну и низким бортам долбушки.

«Возьми три цветка русалочьего цвета и дай ему отвар выпить – через три дня будет здоров», – сказала ей речная дева.

Прекраса не раз весной и летом помогала матери собирать «русалочий цвет»; раньше они брали и цветки, и корни, и листья, все это годится от разных хворей. Но сейчас ей были нужны только цветки – только они прогоняют жар, унимают боль и дают целительный сон. С новым волнением и трепетом прикасалась она к упругим белым лепесткам с зеленоватыми прожилками, охранявшим золотые реснички сердцевинки. Вода уже прогрелась и ласкала руки, сквозь нее было видно заросли внизу, будто особый маленький лес с золотистым воздухом. Стоя на толстых своих стебельках, белые цветы приподнимались над ковром листьев и будто сами про-силась в руки. Речные девы взирали на Прекрасу из-под этих солнечных ресниц, и теперь она

ощущала их присутствие так ясно, как никогда ранее. Смотреть в золотую серединку цветка было и отрадно, и тревожно: его взгляд затягивал в гущу золотых ресничек. Как глаза самих речных дев... Ведь говорят, что в цветках «русалочьего цвета» – душа их, и в эти цветки они обращаются, когда закончится их время выходить из своей стихии. Но ведь Прядущая у Воды сама велела ей взять три цветка. От волнения было тяжело дышать, но в то же время каждый вдох вливался в грудь, будто хмельной мед, наполнял жилы огнем, а душу – отрадой.

– Русалочий-цвет, одолень-травя! – шептала Прекраса, отделяя очередной цветок. На поясе у нее висел маленький нож в кожаных ножнах, но целебные зелья следует брать, не прикасаясь к ним железом, и она обрывала стебель руками. – Мать-Вода тебя породила, силой могучей наделила. Беру я тебя на утренней заре, а с тем беру твою силу могучую, Ингеру, Хрорикову сыну, на здоровье, на долгий век.

Сорвав несколько самых крупных и ровных листьев, Прекраса завернула в них цветы, положила на дно долбушки и тронулась дальше. Уже вышло солнце, свет белый казался ясным и приветливым, но не таким, как был вчера, и Прекраса знала: прежним он больше не будет. Ни свет белый, ни она сама. Она сходила *на грань*, а оттуда если возвращаются живыми, то уже не прежними. Встреча на заре казалась сном, но Прекраса не сомневалась – это было на самом деле.

Теперь три белых целительных огонька были у нее в руках, тщательно завернутые в листья. С листьев вода потихоньку капала на пол, на дубовые плахи пола в княжьей избе. В Плесков Прекраса не раз ездила с отцом и матерью в дни больших торгов, но в избе Стремислава ей бывать не случалось. Многие нашли бы, на что здесь подивиться: расписная греческая посуда на полках, шелковая бледно-золотистая занавесь перед постелью, шелковые, узорные покрывала на ларях, а на столе – литой бронзовый светильник. Но Прекрасе не было до этого дела, она жаждала поскорее увидеть Ингера.

– Не слыхала я никогда, чтобы молодые девки... – начала княгиня.

Прекраса медленно, с выражением почтительности на лице, подняла на нее глаза. И возражения мягко встали у княгини в горле. Взгляд Грачовой дочери упал прямо в душу и будто разлился там, заполонил до последнего уголка. Эти глаза затягивали и подчиняли, вернее, унимали желание спорить, убеждая без слов. Хотелось смотреть в них без конца, словно в них таилась мудрость, недоступная иным. Но смотреть было страшно – хоть эта сила и не угрожала, но она смущала и пугала одним своим присутствием.

И эти капли на полу, будто вода стекает с самих волос гостьи и проступает в следах...

– Ну, будь по-вашему... – Княгиня моргнула, прогоняя наваждение. – Коли мать послала...

Однако не в матери тут дело. Чего дивного, если дочка Гунноры и внучка старой Гердицы тоже растет *знающей*? Да как бы еще не сильнее всех. Она ведь будет *третья* в роду этих женщин...

– Ступай! – движимая смутным опасением, княгиня махнула рукой, отпуская Прекрасу. – Он в святилище лежит, в обчине, скажи там во дворе, чтобы проводили. Ой, стой! – опомнилась она: привычка к заботе одолела неуютное чувство. – Лайна! – окликнула она ключницу, стоявшую у двери. – Сведи ее накорми. Девка же прямо с дороги, а от Выбут тут полдня грести...

Несколько раз в год Хрок со всей семьей ездил в плесковское Перуново святилище на большие праздники, и Прекраса знала, как туда идти, но отказываться от провожатых не стала. Пустили бы ее, невесть откуда взявшуюся, к молодому князю, явись она сама по себе? Холмоградцы же и не слыхали о ней никогда. Лайна – невысокая, круглолицая и довольно полная женщина средних лет, бодрого вида светлобровая чудинка, – повела ее на двор за вал и к одной из двух больших обчин. Незнакомые люди – холмоградские отроки – с унылым видом сидели под стеной, в тени. При виде Прекрасы они несколько оживились – всегда приятно увидеть

молодую миловидную девушку, – но приняли ее, просто одетую, за челядинку. А она их едва заметила – ведь уже вот-вот ей предстояло увидеть Ингера! Лайна сказала, что со вчерашнего дня ему стало еще хуже: жар усилился, он иногда открывал мутные глаза, но никого не видел.

– Кормилец его прям чуть не плачет, – говорила ключница по дороге от города. – Прям весь убивается. Доверил, говорит, князь мне чадо свое единое, а я и того не уберег...

Дверь обчины стояла нараспашку. Лайна просунула голову внутрь, потом зашла и поманила за собой Прекрасу. Едва чуя землю под ногами, та последовала за чудинкой. В обчине было полутемно, оконца наполовину закрыты заслонками, и после яркого дня Прекраса поначалу ничего не видела. Лайна манила ее в дальний конец длинного строения, где по праздникам усаживались за столы многие десятки плесковичей. Сейчас столы были убраны, оставлены только два в другом конце, уставленные простыми глиняными и деревянными мисками и чашами. Холмоградские отроки сидел на лавках, иные дремали на кошмах на полу, везде виднелись дорожные мешки и разные пожитки. Говорили мало, и то вполголоса. При виде двух женщин все обратили лица к ним. Лайна провела Прекрасу мимо, к широкой лежанке, собранной из двух скамей, покрытых несколькими постельниками<sup>10</sup>. Возле нее сидел кто-то высокий; когда Лайна подошла, он встал.

Прекраса удивилась: больно молодой у князя кормилец! Это был парень лет двадцати, высокий, худощавый, светловолосый, с резкими чертами лица и легкой золотистой щетиной на подбородке и впалых щеках. Несмотря на худощавость, он производил впечатлений жилистого и сильного – такого не сломаешь. Глубоко посаженные глаза казались узкими и смотрели с острой настороженностью, губы были сложены жестко.

– А отец где? – спросила у него Лайна.

– Ивор спит, – парень кивнул в сторону, откуда доносился храп. – Умаялся, всю ночь сидел. Отдыхает.

– А я вам ведунью новую привела.

– Где? – Парень взглянул в сторону двери, ожидая найти позади Лайны еще одну старуху – пятую или шестую из побывавших здесь за последние дни.

– Да вот же она! – Ключница указала на Прекрасу. – Глаза протри.

Парень, только сейчас заметив Прекрасу, окинул ее внимательным и недоверчивым взглядом.

– Это что за ведунья? Вчера поневу надела, а уж лечить?

– Эта умеет, – с неожиданной для Прекрасы уверенностью возразила Лайна. – У нее и мать, и бабка по всей земле нашей славились. У них род весь такой: как скажут, так и выйдет. Коли недужному помереть, и близко к нему не подойдут. А коли она пришла, стало быть, счастье вам.

Ключница понимала: холмоградцам трудно поверить, что от девки будет толк, когда и Бажана, и Немыка, и старый варяг Хавбьёрн, умелец резать «целящие руны», не смогли своим искусством помочь больному. Хавбьёрн даже сказал ей тайком, что «норны противились», когда он резал те руны, но он не мог отказать князю. Тут уж приходилось хвататься за соломинку.

– Ну, не знаю, – парень еще раз с сомнением оглядел Прекрасу.

Она же едва слышала этот разговор: взгляд ее и внимание было приковано к лежащему. Она снова видела Ингера, и уже это казалось чудом. Длинная эта изба совсем не походила на подходящее для солнца жильё, но вот так же солнце лежит на дне тьмы в те дни, когда сила его на самой нижней точке. Сердце колотилось, биение крови отдавалось во всем теле до последней мелкой жилочки. Эта часть дома была затемнена, и в полутьме Прекраса плохо различала его

---

<sup>10</sup> Постельник – тюфяк, матрас.

черты, но само сердце ей говорило: это он. Она видела, как вздымается его грудь – он дышал с трудом, и иногда до ее слуха доносился слабый невольный стон. Он был без памяти.

– Ратьша! – хрипло окликнули парня со стороны. – С кем ты там? Кто пришел?

– Да говорят, ведунью привели, а она девка совсем! – вполголоса ответил светловолосый парень, обернувшись.

Послышалось кряхтенье, покашливание. С лавки спустил ноги и сел тот самый мужчина, которого Прекраса видела у брода вместе с Ингером – крупный, широкий, с сединой в темной бороде. Только сейчас он был не в зеленом кафтане, а в белой сорочке и простых полотняных портах. Поднявшись, он направился к ним, на ходу повязывая пояс.

– Где ведунья? – Он воззрился на Лайну, уже ему знакомую, потом перевез взгляд на Прекрасу. – Вот эта?

– Не сомневайся, – ключница хмыкнула. – Я уж твоему отроку говорю: у них весь род такой, знающий, и ты не гляди, что молода.

– Будь жив, боярин, – Прекраса оторвалась от Ингера и поклонилась его кормильцу. – Я – Хрокова дочь, ты помнишь его, он на броне сидит в Выбутах, лодьи перевозит. Моя мать – знатная ведунья. Она сама занемогла, меня прислала. Привезла я от нее зелье могучее. Надо его заварить и поить князя вашего на утренней заре и на вечерней – через три дня будет здоров.

– Да ну! – Ивор вгляделся в нее, насколько позволяла полутьма. – Хрока я знаю, он человек добрый... А тебя не припомню.

Прекраса слегка улыбнулась: откуда тебе меня помнить? Дома у них холмоградцы не бывали, а на броне он имел дело только с Хроком.

Ничего не говоря больше, она встретила его испытывающий взгляд. Ивор застал: взглянув ей в глаза, он забыл, о чем они говорили. Девка миловидная, но обычная, в каждой веси таких встретишь. Но глаза ее... В полутьме и не разобрать, какого цвета, но сила этих глаз поразила, будто острый рейнский меч. Они затягивали и подчиняли, но внушали не страх, а лишь влечение. Хотелось смотреть в них, как в теплые ласковые воды, где отражается небо, впитывать саму силу Матери-Воды...

– И что ты за зелье привезла? – спросил он, стараясь опомниться. – Молоко звериное?



– Как начнет смеркаться, я пойду за водой, а вы печь не гасите, ждите, – сказала Прекраса Ивору. – Мне три колодца обойти придется. Как вернусь, пусть никто из вас не говорит со мной. Для дела нашего нужна «молчаливая вода», а если я, пока несу ее, хоть слово скажу, то дух целящий уйдет из нее и помощи нам от Матери-Воды не будет.

Холмоградцы выслушали ее и молча кивнули в ответ. Возле них начинала твориться загадочная ворожба, и эта девушка с брода, по виду такая обыкновенная, владела особым умением – ловить, укрощать и определять к себе на пользу духов воды.

Но приходилось ждать нужного часа – чудодейственные силы доступны не когда пожелаешь, а в урочное время, и знание этого времени составляет немалую часть мудрости любого ведуна. А пока Ингер лежал в полусне-полубреду. Немного унявшийся до полудня жар теперь опять усилился. Князь дышал с трудом, лоб его горел; Прекраса лишь коснулась и отдернула руку, как от раскаленного камня. И все же ее пробрал счастливый трепет – прикоснуться к нему было блаженством. Русые волосы, слипшиеся от пота, разметались по подушке, на щеках за три дня появилась колкая щетина. Но даже таким он казался ей прекрасным, как солнце.

– С чего он захворал? – вполголоса спросила Прекраса у Ратислава.

Парня она робела меньше, чем старика Ивора. В другой раз она бы со стыда сгорела: молодая девушка, явилась совсем одна, в чужое место, к чужим мужчинам, сидит тут с ними без присмотра; даже Лайна, все устроив, ушла по своим делам. Но сейчас все это мало заботило

Прекрасу, все ее мысли были о здоровье Ингера. Теперь это самое важное, что есть для нее на всем белом свете.

Боярин и его сестрич переглянулись.

– Да не с чего вроде... – Ратислав недоуменно двинул углом рта. – Мы с Кари и Аки купались, и нам хоть бы что. А он и в воду-то не лазил ни разу.

– Вам встречался кто-то? Женщина незнакомая, чудная птица или зверь?

– Женщины нам тут все незнакомые, – буркнул Ратислав. – И ты тоже.

– Вы моего отца знаете.

– Отца-то знаем... – Ратислав и сейчас смотрел на нее без особого доверия.

– Я видела, как вы шли через брод, когда в Плесков ехали. Ты, боярин, с князем стоял от всех поодаль, и мой отец с вами говорил. А за бродом князь в лодью вошел последним. Дал моего отцу четверть ногаты, – обстоятельно вспомнила Прекраса, чтобы они не сомневались: она и правда Хрокова дочь из Выбут. – Он сказал отцу... кое-что.

– Что? – Ивор взглянул ей в лицо, но тут же отвел глаза.

– Он спросил... что в наших краях означает слово «плеск», – чуть слышно ответила Прекраса; Ивору пришлось наклониться ближе к ней, чтобы разобрать. – И я ду... матушка моя думает, что с ним по пути говорил... *кто-то*.

Те двое снова переглянулись.

– И что... в ваших краях означает слово «плеск»? – осторожно, будто каждое слово было стеклянным сосудом, повторил Ратислав.

Уже ясно было: ничего хорошего.

– Плеском мы зовем броды наши и пороги. При них девы речные живут и прядут судьбы людские. И когда плеск головы человеческой хочет... он эту голову получает. Потому «плеск» значит «судьба». Кому судьба умереть, тот плеску достанется, судьбой взят будет. Девы водяные всегда неожиданно навстречу выходят. Иной раз уткой покажутся, или девой, или цветком. И кто услышит их речи, тому жить недолго. Иной здесь же будет взят, где услышал, и скоро, иной и год протянет и совсем в другом месте судьбы дождется.

С каждым словом Прекрасы лица ее слушателей делались все мрачнее. Еще несколько отроков придвинулись ближе и тоже слушали. Прекрасе бросились в глаза двое крепких парней, очень похожих друг на друга – видимо, братья-погодки.

– Не в добрый час его в сторону эту понесло! – Ивор в досаде хлопнул себя по коленям. – Очень вот надо было самому ехать! Я бы съездил. Или из наших старцев кто. Мало ли людей толковых!

– Это в тот вечер он... – припомнил Ратислав. – В последний, что в лесу ночевали. Он тогда, помнишь, отошел один. Я пошел за ним. Как завидел, он уже возвращался, на нем лица не было. Видно, тогда и повстречал кого...

Ивор опустил углы рта в полуседой бороде, будто говоря: вон она где, беда!

– Ведь только что такие вести получили! Весь белый свет нам покоряется! – продолжал боярин. – Уж не из богов ли кто такой доле позавидовал? Или мало мы жертв принесли? Только бы жить ему! Всем белым светом владеть! На цесаревой дочери жениться! Семь сыновей родить и каждому по земле в наследство оставить! Неужто судьба его так зла – поманила честью и счастьем, да и погубила на ровном месте!

– Не кручинься, боярин. Князь твой будет жить.

Прекраса произнесла это так спокойно и уверенно, что Ивор впился взглядом в ее лицо.

– Ты верно знаешь? – спросил он с недоверием, которое, однако, не исключало возможность верного знания.

Теперь ему уже не казалось, что эта дева слишком молода для ведуньи. В ней чувствовалась сила – та сила, что дается от Иного и не зависит от возраста.

– Матерью-Водой клянусь. У меня средство верное. Через три дня хворь отступит, а еще через три дня князь ваш на ноги встанет.

Ближе к вечеру отроки принялись варить кашу в летних печах и жарить рыбу, выловленную из Великой. Тем временем приехал князь Стремислав – поведать больного, а еще посмотреть на новоявленную ведунью. Княгиня уже ему рассказала, что вместо жены Грача приехала дочь, и он не знал, досадовать на эту замену или нет. Прекраса и ему рассказала, что мать-де захворала, но дала ей верное средство.

– Ты смотри... как будешь его поить твоим зельем, сперва сама отпей, – велел князь и взглядом поручил Ивору за этим проследить. – А то мне того... дурной славы не надобно. Коли что, скажут, ведуньи у меня отравили гостя молодого. А я за него как за сына болею. Может, еще и будет мне как сын... – добавил он, имея в виду не совсем отвергнутую возможность когда-нибудь взять Ингера в зятя, чтобы все знали, что тот ему тоже нужен живым и здоровым. – Так что ты, дева... коли уж взялась лечить, лечи хорошо! А только лучше бы мать твоя приехала!

Прекраса опустила глаза. Зачем рассказывать, что ее мать *не смогла* бы спасти Ингера, потому что услышала у плеска погребальный плач? Только она, девушка, едва обученная простым приемам врачевания, добилась от речной девы милости для него. И она в своих руках эту новую судьбу принесла.

Посидев немного и ради дружбы съев пару ложек каши – чтобы никто не мог сомневаться в его добром расположении к холмоградцам, – Стремислав уехал восвояси. Из тех же соображений он не хотел быть при лечении Ингера: он предостерег, а дальше не его дело.

Тем временем начало темнеть. Прекраса, как и обещала, взяла кувшин и ковшик и ушла искать три колодца либо родника. Ивор, Ратислав, другие отроки ждали ее в молчаливом волнении, не находя себе места. Вспоминались слышанные в детстве сказания о том, как некто – отрок или девица – уходит из дома за чудесным средством вернуть отцу жизнь или молодость и забирается в поисках на самое небо или в подземье, где таятся сокровища богов. Куда-то туда и она ушла – скрылась за воротами ночной тьмы, в непостижимый мир, куда ход есть только волхвам...

Когда девушка вернулась, уже почти в темноте, неся полный кувшин воды, никто и не пытался заговорить с нею. Даже смотреть на нее было боязно. Два-три отрока сидели во дворе, поддерживая жар в печи под навесом – обычно ее использовали, чтобы готовить угощение для пиров. При виде Прекрасы они торопливо вскочили и отошли, будто пребывать рядом с этой девушкой и ее кувшином было опасно. Прекраса нагрела горшок «молчаливой воды» и сделала отвар из первого белого цветка. Цветки она до времени хранила в корытце с водой, накрыв рушником и поставив под стеной. Отроки, не исключая и светловолосого Ратислава, косились на нее и на это корытце, будто там сидели невесть какие куды<sup>11</sup>, но отворачивались, опасаясь ненароком взглянуть ворожбу.

Оставив отвар остывать на дворе под звездами, Прекраса снова прошла в обчину.

– Всю ночь зелье на дворе стоять будет, чтобы силой звезд напитаться, – шепотом сказала она. – А как Заря Утренняя покажется, так и дадим.

– Ох, сколько ждать-то еще! – вздохнул Ивор, сокрушенно качая головой.

Он боялся, что Ингер не дотянет до утра. Горько же будет потерять его, имея уже почти в руках средство исцеления! Но против духов Матери-Воды не пойдешь, их не уломаешь, у них законы свои.

Втроем они сидели вокруг больного. Прекраса и прошлую ночь почти не спала, ожидая рассвета и встречи с речной девой, а потом проделала в долбушке путь в десять верст, но откуда-то взялись такие силы, что она не чувствовала усталости. Она часто меняла на лбу

---

<sup>11</sup> Куды – духи, отсюда «кудесник». Родственное слову «чудо».

больного важную ветошку, убирала взмокшие волосы с лица. В эти мгновения ей казалось, что он целиком принадлежит ей, и она не могла бы быть счастливее, даже если бы ей поднесли солнце с неба. Ивор и Ратислав сидели рядом, но не вмешивались: казалось, сама эта дева заключает в себе силу исцеления и самое простое дело окажется действеннее, если будет сделано ее легкими руками.

Со двора вошел княжеский холоп.

– Ключница прислала, – доложил он, обращаясь к Прекрасе. – Сказала, чтобы ты шла к ней ночевать.

Прекраса опомнилась. В самом-то деле, нельзя же ей на всю ночь остаться в доме с двумя десятками чужих мужчин! Она ж не старуха, как Бажана, как бы слух какой не пошел... И без того она родителей опечалила, что исчезла невесть куда.

– Я на заре вернусь, – шепнула она Ратиславу. – Тогда отвара дадим.

Ратислав как будто колебался, собираясь что-то ответить, и она ждала.

– Хочешь... я провожу тебя? – предложил он наконец.

И Прекраса поняла: холмоградская дружина ей поверила.



Ночь прошла тяжело – Ингера мучил жар, он метался на возголовье<sup>12</sup>, иногда что-то бормотал по-славянски и по-варяжски. Но вот наконец, когда Ивор уже потерял надежду дождаться нового дня, на восходе показалась легкая красная полоска. И в тот же миг в обчину, будто принесенная первым лучом зари, вошла Прекраса. В руках у нее был горшок с отваром белого цветка. Глядя на зарю, она нашептала зелье; теперь она налила половину в ковшик, отхлебнула горьковатое прохладное питье и передала Ивору.

И тут случилось первое чудо: длинные и черные, как у девушки, ресницы Ингера дрогнули и он открыл глаза. Взор его был мутен от слабости.

– Давай скорее, напои его! – шепнул Ивор Прекрасе. – Пока в себя пришел.

– Лучше ты сам – от тебя он охотнее примет, – Прекраса попятилась. – Он же не знает меня. Подумает, суденица за ним явилась.

Но была и другая причина: едва Ингер поднял веки, Прекрасу охватила мучительная робость. Она не смела показаться ему на глаза, хоть и понимала: сейчас он мало что осознает. Предпочла оставаться в тени, за спинами его ближиков, и лишь смотреть, как Ратислав заботливо приподнимая Ингера, обняв его за плечи и опирая о свое плечо, а Ивор придерживает его голову и подносит к губам ковшик.

–пей, родной мой, – услышала она непривычно мягкий голос боярина. – От этого тебе враз легче станет.

– Ты... уже говорил... – донесся хриплый ответ.

У Прекрасы оборвалось сердце – в первый раз она слышала его голос. Едва различимый, невыразительный от слабости, он однако свидетельствовал, что Ингер в сознании. В нем даже угадывался проблеск насмешки над прежними средствами, не оказавшими действия. Здесь уже не одна бабка перебивала. Две-три из них заходили и в этот день – проведать больного и подивиться на новую лекарку. Норовили вызнать, какое-такое средство Гуннора дала дочери, но Прекраса уклонялась от ответа. Они не настаивали: всякий знахарь свои средства таит. Разумеется, Ингеру уже давали отвары ивовой коры, зимолубки, гусиной травы, липовый цвет, душицу... чего только не давали. Бабки тоже решили, что ему не жить, и теперь с насмешкой смотрели на молодую соперницу, вздумавшую быть мудрее них.

---

<sup>12</sup> Возголовье – подушка.

Прекраса и сама бы не поверила, что такое возможно. Но она знала кое-что другое. Она пришла не просто так, а сперва выкупив жизнь Ингера у речной девы. А того, что она отдала в уплату, у этих бабок просто нет...

Ингер сделал несколько глотков, потом вяло помотал головой, показывая, что больше не хочет. Ратислав осторожно уложил его обратно на подушку, украдкой потрогал лоб. Прекраса, стоя поодаль, вглядывалась в его изможденное лицо с закрытыми глазами. Когда зимой настает солонорот и тьма овладевает миром, солнце, утонувшее во мраке, вот так же лежит на дне Бездны... Но и тогда это – солнце. Вся его мощь остается с ним. Нужно лишь немного помочь ему вновь начать светить. Ведь и то, небесное солнце не выходит на небо само – его выводит сестра его, Заря Утренняя. Выводит, раздвигая перед ним холод и тьму, а потом тает в его пробудившемся сиянии.

Ивор склонился к Ингеру, прислушался к дыханию.

– Вроде заснул опять.

Прекраса снова села. Речная дева не обещала мгновенного исцеления – придется ждать еще три долгих дня. И три куда более протяженные ночи, хотя ночи в эту пору короткие и с каждым разом уменьшаются.

Рассвело. Солнце уже лило лучи на площадку святилища, когда Ингер пошевелился. Ратислав поспешно наклонился, спрашивая, не хочет ли чего.

– Укрой, – шепнул князь. – Зябко.

Укрыв Ингера овчиной – раньше тот жаловался, что жарко, и отбрасывал покрывала, – Ратислав прикоснулся к его лбу. Тут же лицо его переменялось, и он непочтительно поднес свои пальцы почти к лицу Ивора.

– Потеет! – радостно шепнул он. – И не горячий совсем.

Ивор оглянулся; Прекраса живо смочила ветошку в остатках отвара и подала ему. Ивор заботливо протер Ингеру влажный лоб, шею и грудь. Жар спал, и того бросило в пот.

– Как ты теперь?

– Получше, – донесся слабый, глухо ответ.

Это была еще не очень-то правда – у него и раньше жар временно отступал, чтобы потом вернуться с новой силой. При открытой двери и окнах в обчине было довольно светло, и Ивору наконец-то показалось, что тень от крыльев Марены на лице молодого князя поредела.

Через какое-то время Ингер снова заснул.

– Ложитесь, я посижу с ним, – предложила Прекраса. – Вы ведь чай ночь не спали.

– Ох, истовое слово! – простонал Ивор.

От усталости, от тревоги и облегчения его теперь разморило, и он клевал носом.

– Но ты смотри! – сказал Ратислав, подавляя зевок. – Если что, сразу буди нас!

– Да, буди скорее! – подтвердил Ивор с лихорадочной бодростью.

Чувствовалось, что он и правда взбодрился и с неохотой отходит от Ингера, боясь пропустить признаки благоприятной перемены.



Гуннора с самого начала заподозрила неладное. Не то что заподозрила – была уверена. Она было расслышала, как дочь до зари ушла из дома, но потом снова заснула. Когда начало светать, Прекрасы в избе не оказалось. Одеваясь, Гуннора обнаружила исчезновение своего гребня и вспомнила, как ее разбудило движение. Но сразу искать было некогда – нужно голову чесать, печь топить, кашу варить, будить Гуньку, чтобы гнал скотину в стадо... Хрок жил небедно, коров у него было две, да пять свиней, да полтора десятка овец и коз.

– Долбушка наша пропала! – с возмущением и обидой доложил Гунька, вернувшись в избу.

Он собирался поудить рыбу в любимом месте, но выйти туда оказалось не на чем.  
– Как так? – удивился Хрок.

Уже несколько дней в Выбутах не бывало чужих, а из своих разве кто возьмет?

Гуннора выразительно посмотрела на него: она и сама уже подумала проверить долбушку, но сын ее опередил. Хрок все же сходил к иве на берегу, под которой летом хранил свое суденышко. Долбушка, конечно, не появилась, зато, вернувшись домой, он молча вручил жене ее костяной гребень: нашел в дупле той самой ивы.

Зажав гребень в руке, Гуннора села и потрясенно уставилась на мужа.

– Это она, – вымолвила женщина наконец. – Подалась... сама.

– Куда?

– В Плесков. К тому... князю молодому. Что захворал.

– Чтоб ему кукнуть! – не сдержался Хрок. – Я сейчас поеду и привезу ее! У Пиряты лодку возьму...

– Не надо, – Гуннора встала и остановила его. – Подожди. Я на заре вечером... сызнава схожу. Я ведь сказала ей, что ему не жить. Но она...

Гуннора посмотрела на гребень в своей руке. Дочь знала, для чего, кроме простого расчесывания волос, ей служит этот гребень, и мать понимала, для чего Прекраса его брала.

Но к чему привела ее выходка? Ехать в Плесков, чтобы лечить заведомо умирающего, почти то же самое, что умереть вместе с ним. Но едва ли дочь настолько потеряла голову, что захотела такой смерти! Раз она все же уехала к больному князю – не добилась ли она от берегинь какого-то *другого* ответа? Более благоприятного, оставляющего надежду? У Гунноры кружилась голова при этой мысли – от волнения, от страха, от изумления, она сама не понимала. Хрок бранился, разгневанный своеволием дочери – где же это видано, чтобы молодая девка, отца-матери не спросясь, в одиночку отправлялась в сам Плесков! К каким-то чужакам! Людям на диво, родителям на сором! Но Гуннора удерживала его. Что бы ни сделала Прекраса, она разбудила силы, которые нельзя уgomонить одной отцовской волей.

Вечером Гуннора, как и за день перед тем, отправилась «к плеску». И теперь дрожь пробирала ее по пути туда: не о чужом человеке хотела она спросить у речной девы, а о дочери родной. О той, которой она всегда желала счастья и о которой теперь стала тревожиться, как никогда раньше, узнав, что та без спросу и совета вступила на тот же путь. Саму Гуннору этот путь, во времена неопытности, когда-то чуть не привел к гибели. И вот все повторялось: снова болен не кто-нибудь, а человек княжеского рода, и снова от них требуют помощи. Но если Гуннора в свое время пыталась избежать этой опасной чести, то Прекраса рванулась навстречу беде, как ночная бабочка на огонь.

А причина одна: та самая, что лишает людей рассудка, а взамен дает невиданные силы, манит счастьем, а приводит к гибели. Но как нельзя остановить течение рек и движение ветра, так нельзя отговорить девок любить и пытаться всю жизнь свою отдать за миг счастья.

Долго-долго Гуннора чесала волосы у воды, не решаясь задать свой вопрос. Лишь когда над небокраем уже заиграли первые лучи солнца, она, пересиливая себя, спросила:

– Мать-Вода, Государыня-Вода! Скажи мне судьбу Прекрасы... Хроковой дочери... где она... благополучна ли... что ждет ее на веку?

Закрыла глаза и прислушалась. И из плеска воды родилось:

Там запели милые подруженьки  
Заунывные-то песенки!  
По заре-то по вечерней!  
Не могла моя матушка  
Не учуять да не услышати  
Моего-то зычна голоса!

Как кручинная-то матушка  
Обольется слезой горькою,  
Меня вспомнит, молодешеньку,  
На чужой да на сторонушке...

Гуннора слушала, пока жуть не охватила все ее существо; потом открыла глаза, бросила взгляд через реку и низко поклонилась. Возле того камня, где она привыкла видеть речную деву, качалось в потоке что-то белое: не то огромный цветок «русалочьего цвета», не то птица-лебедь... Но вглядываться нельзя: все исчезнет. Навь не любит пристального внимания и лишнего любопытства. Чтобы говорить с ней, надо заранее смириться с тем, что она не откроет полного знания. Всегда приходится смотреть углом глаза, истолковывать темные речи, опасаясь, что ошибешься. Но иного пути не дано.

Отвернувшись от реки и медленно, дрожащими пальцами заплетая косы, Гуннора вспоминала услышанное. Понять его можно было по-разному. Песнь речной девы сулила ей и всему дому потерю дочери. Но в чем будет причина разлуки? Замужество? Смерть? На смерть девы и на ее свадьбу песни-то поются схожие. Или увезут ее в края далекие?

Или берегиня хотела сказать, что пути Прекрасы ее и родных так разойдутся, что она больше не будет для них прежней дочерью и сестрой?

Прядущие у Воды не лгут и не ошибаются. Гуннора пока не знала всей правды, но понимала главное. Путь, в который вчера на заре отправилась в своем безрассудном своеволии Прекраса, навек положит преграду между нею и близкими.



Мать моя, Заря Утренняя!  
Ты бери золотые ключи,  
Отворяй золотые врата,  
Выводи в белый свет Красно Солнышко.  
И взгляни ты, мать моя, Заря Утренняя,  
На Ингера, сына Хрорикова,  
Отгони от него все хвори и болезни,  
От белого лица,  
От ясных очей, от черных бровей,  
От могучих плечей...

На второй вечер Прекраса сделала отвар из второго белого цветка и заговаривала его дважды в день, утром и вечером. Теперь Ивор принимал от нее горшок с отваром без сомнения и опаски. На другое утро Ингеру уже заметно полегчало: приступы жара еще возвращались, но слабее прежних. Он больше не впадал в беспамятство, только был очень слаб и благодаря отвару «русалочьего цвета» много спал. В промежутках он уже приказывал поднять себя и даже начал есть – несколько ложек каши, немного молока, сыра, мясного отвара. Княгиня велела испечь для него лепешек из последних запасов жита: пусть сил набирается.

Так прошел третий день и следующая за ним ночь, когда Прекраса в третий раз сходила к трем колодцам за «молчаливой водой» и вынула из корытца последний белый цветок. Он оставался почти таким же свежим, но лепестки его немного съжились и напоминали полусжатый кулачок, скрывающий золотое колечко. Она сделала отвар и передала горшок Ивору.

– Теперь прощай, боярин. Пора мне восояси.

– Да что ты! – возмутился Ивор. – Ты куда? Он же не встал еще! А вдруг что случится?

– Раз уж пришла, так оставайся до конца, – поддержал Ратислав, упирая руки в бока и хмурия брови.

Вид у него, высокого и жилистого, при этом был такой решительный, будто он и есть тот кол, на котором держится Всемирье.

– Нельзя! – спокойно возразила Прекраса. – На три дня меня матушка отпустила, более задерживаться не велела. Вы не тревожьтесь: никакой беды не будет, нынче на заре вечерней и завтра на заре утренней давайте отвар, и другого ничего не нужно. Поправится князь, через три дня на ноги встанет. Матерью-Водой и Матерью-Землей клянусь! А мне больше оставаться с вами нельзя.

Что-то потустороннее слышалось в этих словах, в ее спокойном голосе. Так говорят существа, кому позволено пребывать среди живых или носить человеческий облик лишь определенное время, а попытки удержать их приводят к беде.

Но сильнее слов говорили ее глаза. Голубые, как вода реки Великой в ясный летний вечер, они завораживали и влекли, затягивали и подчиняли. Внушали убеждение: как она скажет, так и будет. Так *уже есть*, потому что она сказала. А речь ее, как журчание воды, как движение нити на прялке судьбы творит бытие, и ход его не оспоришь.

Простившись с холмоградской дружиной, Прекраса отправилась в Плесков – переночевать у Лайны, а на заре сесть в свою долбленку, хранившуюся у тамошнего причала. Ратислав с двумя отроками, похожими лицом – они и правда были братья, варяги, их звали Рагнвальд и Игнвальд, – пошел ее провожать в знак своего уважения.

– Ну а что же ты, ведунья, в награду хочешь? – окликнул Прекрасу Ивор, когда она уже собиралась выйти со двора святилища.

– Награду? – Она обернулась и словно бы даже удивилась.

– Само собой. Ты же... князю моему жизнь спасла.

Прекраса помолчала. Что они могут дать ей? Какая награда ее порадует сильнее, чем это счастье – знание, что Ингер будет жить и что это она помогла ему выбраться из черной пасти Марены?

– Вот что... Когда князь молодой оправится... пусть сам мне награду определит, – сказала она наконец.

– Но как же, коли ты уходишь? Дождалась бы уж...

Прекраса улыбнулась, едва не смеясь над его недогадливостью.

– Не беда, боярин! Как тронется князь в обратный путь, меня не минует.

Она вежливо поклонилась – обычная миловидная дева с длинной светлой косой, в опрятной белой вздевалке, с двумя тонкими колечками на красном тканом очелье, – и плавной походкой тронулась прочь. Ивор смотрел ей вслед, пока она и долговязая фигура Ратислава с двумя провожатыми не скрылись из глаз. Идет – словно лебедь плывет. Однако в вежливой ее речи звучала та же предопределенность, как во всяком предсказании. Куда ни пойдешь, а судьбы своей не минуешь, будь ты хоть князь, хоть кто...



По дороге из небесного багрянца, которым одела реку Великую вечерняя заря, возвращалась Прекраса домой в Выбуты. Она выехала из Плескова после полудня – проспала зарю, наконец освободившись от тревоги. Вверх по течению ей все время приходилось грести, и она порядком устала. Даже останавливалась на полпути отдохнуть и поесть: Лайна по приказу княгиня дала ей с собой печеных яиц и репы. Прежнее возбуждение ушло, Прекраса чувствовала себя разбитой: сказались дни, полные волнений, и ночи некрепкого сна в чужом месте. До знакомой ивы, ввиду выбутских изб и дворов, она добралась чуть живая.

Привязав долбушку, заглянула в дупло – гребень Гунноры исчез. Прекраса так и знала, что его найдет тот из семьи, кто придет поверить долбушку. Но прежде чем идти домой, прилегла на траву под ивой и прикрыла глаза. Перед последней частью пути ей нужно набраться сил. Ее будут бранить, это уж хоть глаз поставить, – как говорил Ратислав. А она так и не придумала, чем объяснить дома свое отсутствие – не до того было. Можно ли рассказать всю правду? Нет, совсем всю никак нельзя. Но хотя бы часть: про «русалочий цвет», про обещание берегини помиловать Ингера? Она одержала победу над Мареной, ей есть чем гордиться. Это утешало – Ингер спасен, и нужды нет, что дальше будет с ней самой. Теперь она снова увидит его, когда он поедет назад: живой и здоровый, к власти и славе, а не холодный и безгласный, с остывшими устами и погасшими очами, на санях к краде погребальной.

Лицо Ингера стояло у нее перед глазами: перед уходом она прокралась в обчину и еще раз взглянула на него. Он спал, но дышал ровно, не был ни красен, ни слишком бледен. За время болезни у него так отросла щетина, что он стал выглядеть гораздо старше – таким он будет, когда женится и станет зрелым мужем. Теперь он *станет* зрелым, жизнь его не прервется в юности. Молодой и полный сил, он быстро поправится. Снова засияют его очи, и улыбка его осветит мир, будто восход солнца...



Забрав скотину из стада, Гуннора отправила с ней Гуньку и Горляну, челядинку, а сама завернула к иве. Она по несколько раз в день приходила сюда – посмотреть, не видать ли знакомой долбушки на реке.

В этот раз долбушка на привычном месте сразу бросилась ей в глаза, и Гуннора вздрогнула от неожиданности, будто наткнулась на чудовище.

Однако людей на поляне не было, и у Гунноры оборвалось сердце. Она могла просто разминуться с дочерью, пока ходила к выгону, и та уже дома. Но первым делом ей подумалось: долбушка вернулась домой сама по себе, а дочь уже улетела куда-то на крыльях лебединых и не вернется никогда...

Гуннора сделала еще несколько шагов к воде и тут вдруг увидела, что на траве возле ивы кто-то лежит.

Это была Прекраса: она спала, положив ладони под голову, и лицо у нее было счастливое.

## Глава 4

На четвертый день жар у Ингера перестал подниматься, осталась только слабость. Однако он быстро набирался сил и еще через три дня смог выйти во двор, на вольный воздух.

– Вот ведь повезло нам с этой девкой! – вырвалось у Ратислава, когда князя усадили под стеной, на теплом солнышке, и все окончательно поверили, что Марена от него отступилась. – Мы уж тут все думали, к дедам тебя призывают, на санях домой повезем...

– Вот оно как бывает! – Ивор поднял густые черные брови. – Пять старух, одна другой старее, попусту здесь шебуршились, а пришла молодая девка – и помогла! Сам бы не поверил, если бы своими глазами не видел...

– Какая девка? – Ингер непонимающе взглянул на кормильца.

– Которая тебя лечила.

– Здесь же эта... ключница Стремиславова была? Чудинка?

Громкий голос Лайны, привыкшей распоряжаться челядью, и ее чудинский выговор Ингер различал в полусне лучше, чем тихий говор Прекрасы и ее неслышную поступь.

– То ключница, а лечила тебя одна девка, дочь перевозчика с Выбут, – пояснил Ратислав. – Помнишь, мужик такой был рослый, с черной бородой, варяг, Хроком кличут?

– Хрока помню.

– Вот его дочь ведуньей оказалась. Приезжала, какие-то белые цветы привезла, поила тебя, клялась, что выздоровеешь. Вот ты и... – Ивор провел рукой сверху вниз, будто показывая Ингера ему самому.

– Правда? – Ингер удивился. – Я никакой девки не помню.

– Ты без памяти больше был в то время, или спал.

– Она тебя одолень-травой поила, – добавил Рагнвальд, один из двоих братьев, Ингерых телохранителей. – Моя мать бессонницу ею лечила. Вот ты и спал.

– Где ж она?

– Восвояси убралась. Сказала, только на три дня ее мать с отцом отпустили.

– А какая она собой была? – Ингер слегка нахмурился, надеясь что-то припомнить, хотя его воспоминания о днях болезни были очень расплывчаты.

– Девка как девка, – Ратислав повел плечом.

– Беленькая такая, ровно нивяница<sup>13</sup>, – добавил Кари.

– И золотистая, – подхватил Аки.

– Это веснушки потому что.

– А губы как ягоды!

– А глаза как река синяя!

– Брови как куницы пушистые!

Все те три дня отроки не сводили глаз с Прекрасы, не зная, любоваться ее красотой или дивиться мудрости.

– Ну, ну, распелись! – насмешливо осадил отроков Ратислав. – Она ничего так, миленькая, – снисходительно признал он потом. – Тошевата только.

– Чудно как! – сказал Ингер, помолчав. – Будто баснь... Какая-то девка неведомая, пришла, вылечила, ушла... Будто улетела.

– Да я и сам теперь думаю... – Ратислав выразительно почесал в белобрысом затылке. – Не примерещилась ли она нам, а, дядька?

– А вот домой поедем, проверим. Нам же опять через Выбуты ехать. Там у Хрока и спросим, есть у него дочь или... Или вместо нее какое-нибудь... чудо нам являлось.

---

<sup>13</sup> Нивяница – ромашка.

Все помолчали, осознав, что к ним, назвавшись дочерью варяга с перевоза, могла явиться одна из богинь или норн. А приедут они в Выбуты – окажется, что у Хрока никакой дочери отродясь не было...

Изо всех сил Ингер старался припомнить эту загадочную целительницу, и ему казалось, будто сквозь сон и полубред он различал неслышно скользящую светлую тень, слышал шепот, даже ощущал легкие заботливые касания к своему лбу. Но если бы ему не рассказали о Хроковой дочери, он бы забыл ее, как сон. Чем больше он думал об этом удивительном деле, тем сильнее ему хотелось наконец увидеть ее наяву.

Только дней через пять Ивор счел своего воспитанника достаточно окрепшим, чтобы решиться на обратный путь. За эти дни Ингер еще не раз виделся со Стремиславом, бывал в Плескове, разговаривал со старейшинами. Уговаривались о посылке на киевские торги мехов, меда, воска и прочего, обсуждали цены, строили замыслы о совместных походах за море, даже в Царьград. Все знали, что покойный Ельг киевский больше двадцати лет назад ходил на Царьград войной и принудил цесарей к заключению договора о дружбе и торговле. Плесковичи такого договора не имели и не могли сами посылать товары за море, но Ингер обещал попытаться что-то для этого сделать. Ведь ему, когда он займет киевский стол, придется отправлять послов ко всем окрестным владькам, чтобы установить с ними ряд уже от себя.

– Ну а тогда и того... подумаем о нашем деле торговом, – многозначительно поднимая брови, Стремислав кивал на дочерей: разговор происходил в его избе в Плескове.

Девушки сидели в бабьем куту возле матери, занятые шитьем; они не поднимали глаз на молодого гостя, но прислушивались ко всем его речам.

– У нас князь молодой, у тебя дочки тоже не перестарки, спешить некуда, – благодушно отвечал Ивор, стараясь не выказать пренебрежения, но и ничего не пообещать.

– Ты, сокол мой, русалок пуще всего остерегайся! – наставляла княгиня. – От них ты захворал. С воды хворь твоя пришла. Пора сейчас такая, когда русалки по земле ходят, поживы себе ищут. А Грачиха, видно, догадалась...

– Какая Грачиха? – не понял Ингер.

Ему же рассказывали про девушку, белую и золотистую, «как нивяница».

– Жена Хрокова, у нас ее Грачихой зовут. Та, что дочь прислала к тебе с зельем. Она сама старой Гердицы дочка, та давным-давно уж померла. Никто не догадался, а она догадалась. Я по тому поняла, что она тебе «русалочий цвет» прислала. От чего, знаешь ли, хворь пришла, тем и лечат. Так что ты русалок берегись. Видно, приглянулся ты им.

– Девки у Стремислава, конечно, хорошие, напрасно было бы хаять, – сказал Ивор, когда холмоградцы уже покинули плесковский детинец и неспешно направлялись к холму святылища. – Да только не в версту они нам теперь будут. Поживем, а там как богам поглянется – снарядишь, скажем, меня послом в Царьград, а я тебе цесареву дочку и высватаю!

– Или каганскую! – с воодушевлением подхватил Ратислав. – Мало ли князей на свете, и у каждого, поди, дочки есть!

Теперь, когда молодой князь избежал смертельной петли, его дружине казалось, что весь белый свет лежит перед ними, как каравай на блюде, только и ожидает, когда возьмут и откусят, с какого бока захочется.

– Эх, брат ты мой! – Ингер обнял его за плечи. – Столько цесаревых дочерей наберем, что некуда сажать будет. Тебе парочку отдам.

Но по улыбке его Ивор видел, что молодой князь не принимает эту толпу цесаревых дочерей так уж близко к сердцу. Да и где они еще? За морями неведомыми...

В день, назначенный для отъезда, Ингер проснулся первым из всей дружины. Короткая в эту пору ночь едва попятилась, а он уже открыл глаза и знал, что больше не заснет. Дух его летел вперед, в дорогу. Что-то будто звало его издалека, тянуло, не давало лежать спокойно.

Провожаемый храпом Ивора, Ингер пошел мимо спящих отроков и распахнул дверь. В душноватую обчину хмельной рекой пролился душистый утренний воздух. Быстро светало, запах росы будто умывал душу, и показалось, березы на опушке под холмом улыбаются ему издали, радуются, что еще кто-то не спит. С луга слышался рожок пастуха и тоже как будто звал: не медли!

– Ты чего... а-аа-а! – Ратислав, встав в двери позади него, широко зевнул. – Чего подскочил?

– Буди всех, – распорядился князь. – Мне теперь рассиживаться некогда, меня Киев ждет!

– Ну, Киев так Киев...

Ратислав ушел назад в обчину, и оттуда донесся его громкий голос:

– А ну живо встали все передо мной, как лист перед травой!.. Дядька, это я не тебе!

Со Стремиславом простились еще вчера, и вскоре, сварив и съев кашу, отроки начали переносить пожитки обратно в лоды. Ингер почти не ел; Ивор обеспокоился, не возвращается ли нездоровье, но Ингер заверил, что полон сил. Непонятное волнение мешало ему есть. Чего бы, казалось – не прямо же в Киев едут! Еще дней семь, если не десять, добираться домой в Холмоград, а уж там, забрав большую дружину, отправляться на юг...

При первых лучах солнца отплыли. Зная, что придется идти через пороги, Ингер взял не одну большую лодью, а две поменьше, по четыре весла с каждой стороны, и в каждой ехало по десять человек. У кормила в первой сидел Ивор, во второй – сам князь. Лодьи шли мимо лугов, где паслась скотина, иной раз по берегу тянулись репища, где женщины пропальвали ростки; завидев две холмоградские лодьи, они разгибались и махали рукой. Отроки махали в ответ. Встречались рыбаки в челнах, мальчишки из прибрежной веси бежали за расписными лодьями. Иной раз на воду падала тень старой развесистой ивы. В заводях мелькали белые огни – это цвел «русалочий цвет», будто сама река подавала его гостям на зеленых блюдах круглых листьев.

«Она тебе русалочий цвет прислала, – вспомнились Ингеру речи Стремиславовой княгини. – От чего хворь пришла, тем и лечат...»

Совсем близко белые цветы качались на волнах, поднятых движением передней лодьи. Казалось, их золотая сердцевинка лукаво подмигивает. Они тянули Ингера к себе, напоминали о той загадочной ведунье, что пришла к нему с «русалочим цветом», откуда-то зная: сила речных дев наслала на него хворь, а значит, дарует и спасение.

В одном месте заросли белых чаш на зеленых листьях отошли от берега довольно далеко и встали на пути лодьи. Перегнувшись с низкого борта, Ингер протянул руку к цветку, но тот откатнулся на волне и выскользнул прямо из пальцев. Ингер засмеялся и потянулся к следующему, привстал, одной рукой цепляясь за борт.

– Эй, ты куда? – с тревогой окликнул его Ратислав; он сидел за веслом в этой же лодье и видел, что делает князь на корме.

– Я сейча... – начал Ингер, смеясь.

Он уже почти достал, почти поймал; упругий влажный лепесток выскользнул из пальцев, он задел край жесткого листа, потянул...

И вдруг ощутил рывок, но не сверху, а снизу. Сама вода, будто невидимая сильная рука, ухватила его за запястье и дернула к себе; невольно вскрикнув, Ингер полетел в реку и скрылся в туче брызг.

– Йотуна мать!

– Чур меня!

– Жаба те в рот!

Лодью качнуло; среди изумленных восклицаний отроки подняли весла. Лодья потеряла ход и закачалась на месте. Ратислав и Ингвальд, второй из братьев-телохранителей, одновременно

менно прыгнули в воду. Но Ингер уже вынырнул и, в три гребка догнав лодью, ухватился за борт.

– Йотунов брод, ты чего творишь! – Ратислав тоже вынырнул и подплыл к нему.

Лодью потихоньку сносило течением. На передней тоже слышали шум, Ивор велел табанить, вторая лодья двинулась назад и приблизилась. Оттуда слышались недоуменные крики; Ивор встал у кормила, глядя в три головы на воде и готовый сам прыгнуть, если окажется, что князю грозит опасность.

– Дядька, я цел! – улыбаясь, Ингер помахал ему и рукой убрал с глаз намокшие кудри.

– Да ты как же? С чего вдруг? На корягу вы, что ли, наткнулись? Что ж за поход у нас такой неудачный!

Но Ингер только еще раз махнул рукой. Лодья подошла к берегу, за ней вторая. Троим искупавшимся нужно было переодеться в сухое и снова занять места.

– Правду княгиня сказала: русалки тебя морочат! – приговаривал Ивор, пока Ингер стягивал мокрую одежду. – Женить бы тебя, что ли, поскорее, тогда уж отстанут! Они к отрокам только липнут. Может, и впрямь стоило у Стремислава дочь просить?

– Ты русалку-то хоть разглядел? – осведомился Ратислав, отжимая свои порты. – Недаром хоть искупался-то?

– А ты?

Белые огни «русалочьего цвета» качались на растревоженных волнах, золотые их сердцевинки блестели под солнцем, будто смеялись. Ивор хмурился. Княгиня предостерегала: с воды хворь пришла. От русалок. И этот смешной вроде бы случай для него был явственным знаком: они еще не отступились от намеченной добычи.



– Крася! Где ты там возишься? Твой князь едет!

– Что?

Прекраса разогнулась, держа в руке выдернутый кустик сныти. Пришла пора полоть и прореживать гряды, но возня среди ростков капусты, репы и моркови не мешала Прекрасе вспоминать свое путешествие в Плесков. Рано утром они с матерью уходили в лес, на луга, к реке, собирали разнообразные травы, цветки и корни, которые сейчас входили в полную силу. Запасались на весь год, для себя и для прочих жителей Выбута: к Гунноре обращались за помощью и соседи, и люди из других весей. Желтые цветы мать-и-мачехи и синие – живучки, лиловый прострел, лист брусники, корень лопуха, крапива, подорожник, почки и сережки березы, хвоя и почки сосны – все это имеет наибольшую целительную силу именно сейчас, когда земля окончательно сбросила остатки зимнего сна и зазеленела, но еще не прошли Ярилины дни. Гуннора с детства водила дочь с собой и рассказывала ей обо всех полезных зельях, но никогда раньше Прекраса не внимала ей с такой жадностью. Теперь, когда она после встречи с речной девой ощутила в себе силу, особенно важным стало знание. Что от чего помогает, когда и где брать, и как – можно ли прикасаться железом или надо рукой, но не голой, а через рукав; какой приговор, какой ответный дар принести в обмен на целебную силу. Где и как сушить, как хранить всю зиму до новой весны... С целыми охапками зеленых листьев или желтых цветов они возвращались по сохнувшей росе в Выбуты и принимались под навесом возле летней печи разбирать их, очищать, связывать в пучки и развешивать в тени на просушку. Отправляясь по другим делам, Прекраса уносила на себе целое облако травяных запахов.

Дни шли за днями, а Прекраса по-прежнему не могла думать ни о чем, кроме Ингера. Теперь он уже должен быть здоров. Она жалела, что ей пришлось его покинуть, но нельзя же было бесконечно оставаться среди чужой дружины. Да и отец мог явиться за ней, и тогда все узнали бы, что мать ее вовсе не посылала, а ушла она самовольно. Вот было бы сраму

перед плесковичами и, того пуще, холмоградцами! Отец и так до сих пор на нее сердился и почти с ней не разговаривал, а только хмурился при виде дочери. Грозил посадить дома на купальские игрища – дескать, уже отгуляла свое. Прекраса смиренно принимала отцовский гнев: да, виновата. Другой отец и прибил бы, был бы прав. Угроза ее не слишком пугала: что ей делать на купальских игрищах, ведь Ингера там не будет? Она была даже рада: если она не выйдет на Купалии, в предстоящий год никто к ней не посватается, а мысль о замужестве сейчас была ей противна. Ингер заполнял ее душу и мысли, и хотелось на всю жизнь остаться в девах, чтобы беречь память о нем. Она будет жить одна, собирать травы, а люди станут гадать, почему такая красивая женщина не вышла замуж... Но никто не узнает ее тайны!

На репище ее и застал брат Гунька. С красным от солнца лицом, облупленным носом и ушами, с взъерошенными светлыми волосами, он примчался от реки, где помогал чинить сети.

– Плывут твои холмоградцы! Людья их у брода!

Прекраса вздрогнула и застыла, не зная, что делать. Все это время она ждала, когда же холмоградская дружина поедет через Выбуты назад, но теперь, когда это случилось, известие ее так поразило, как будто было полной неожиданностью. Хотелось со всех ног бежать на берег – увидеть Ингера, пока не поздно. Но... Прекраса посмотрела на себя. В серой небеленой сорочке, босиком, с холщовым грязным передником и руками, испачканными в земле? В прошлый раз она была для холмоградцев неразличимым пятном в толпе местных и можно было не волноваться из-за своего вида, но теперь они ее знают.

На ходу отвязывая передник, Прекраса заторопилась домой. Можно успеть умыться, одеться в чистое и тогда уже пойти взглянуть на Ингера... убедиться, что он совсем здоров... Может быть, он даже сам захочет на нее взглянуть... Наверное, ему рассказали о ней... От этой мысли захватывало дух, но смущение Прекрасы было так велико, что вместо радости ее охватывал ужас.

Чтобы от огородных гряд попасть домой, пришлось пробежать почти все Выбуты; Прекраса держалась за дощечки, не выходя на дорогу, откуда ее могли бы увидеть от реки. Завернув за угол своего тына, она скользнула к воротам, надеясь проскочить мимо матери: та была у летней печи и варила похлебку из рыбы с молодыми побегами крапивы и рогоза. Но, сделав несколько шагов, Прекраса застыла и прижалась к тыну: прямо перед воротами, в десяти шагах от нее, Хрок разговаривал с Ингером и Ивором. Еще с десятков знакомых из числа холмоградских отроков стояли поодаль, оглядываясь по сторонам.

Прекрасу как ледяной водой окатило, но тут же стало жарко, кровь бросилась в лицо. Она сглотнула, попятилась, надеясь укрыться в тени. Но тут отец обернулся.

– Да вот она! – воскликнул Хрок и нахмурился: – Ты что это... – он окинул дочь взглядом. – Я же Гуньку за тобой послал, чтобы обрядилась, как положено.

– Он меня и позвал... – еле слышно пробормотала Прекраса. – На грядках я была... на репище...

Ингер с Ивором рассматривали ее молча, пытаясь понять: та самая ли дева?

– Иди оденься, – сурово велел отец.

Он и так-то был на нее сердит за побег, а теперь она еще так позорит его своим видом – да перед какими людьми! Прекраса подумала было поскорее проскочить мимо гостей, но сдержалась: они ее уже увидели, так не стоит вести себя, как холопка!

Взгляд ее сам собой потянулся к Ингеру – как он теперь?

И едва она взглянула в его лицо, как счастье его видеть прогнало волнение и стыд. Плавной поступью, будто была одета в багряное платье Зари, Прекраса двинулась вдоль тына к воротам. Улыбнулась Ингеру и слегка поклонилась:

– Будь жив, князь Ингер!

Он не сводил глаз с ее лица, и Прекраса задержала на нем взор. Вблизи, при ясном свете дня, здоровый и бодрый, он показался так красив, что ее охватила дрожь восторга. Правиль-

ные, тонкие черты лица, ровные русые брови подчеркивали ясный блеск глаз в окружении черных ресниц, и даже то, что нос был немного великоват, не портило его, а оттеняло живую красоту остальных черт. Русые волосы осеняли высокий лоб двумя мягкими волнами. А глаза его смотрели на Прекрасу с выражением радостного изумления, и под этим взглядом она замедлила шаг.

– Так это она? – продолжая глядеть на нее, спросил Ингер у своего кормильца.

– Она самая, – важно подтвердил тот.

Прекраса понимала, что надо и с Ивором поздороваться, но не могла отвести глаз от молодого князя. Только немного опустила лицо, глядя на него искоса, исподлобья, но от этого ее манящий взгляд приобрел загадочность.

– Будь цела... русалочий цвет, – Ингер приветливо улыбнулся ей.

Его пристальные взгляд быстро обшаривал ее с головы до ног. Стройная, ладная девушка, с миловидным личиком, порозовевшим от солнца, на носу золотые веснушки. От ее ярких, будто спелая малина, свежих губ на него веяло теплом. Гладкая блестящая коса ниже пояса, светлые тонкие волосы на ветерке легонько выются надо лбом, и оттого кажется, что ее голова испускает едва видимые лучи. Ровные, пушистые брови намного темнее волос и кажутся двумя веселыми молодыми куницами, охраняющими два священных источника живой воды – голубые ее глаза.

А сами глаза... Едва Ингер поймал ее взгляд, как все в нем переменялось. Эти глаза единым шагом вошли в душу и заполнили ее всю; они влекли, обволакивали чувством счастья, полного и всеохватного, как солнечный свет. По всему телу разливалось ощущение блаженства. Не хотелось никуда идти и ехать, и пусть ждут все на свете княжьи столы, пока можно стоять здесь и смотреть ей в глаза. Стало ясно, почему Ивор и отроки говорили о ней со смущением: всему виной этот колдовской взгляд на юном, невинном лице.

Наверное, такие лица у самих берегинь. Или у младшей из Дев Источника, госпожи будущего.

– Так это ты меня исцелила? – спросил Ингер, уже зная ответ: эта девушка одним появлением своим сможет изгнать любую хворь.

– Исцелила тебя сила Матери-Воды, сила Зари Утренней, Зари Вечерней, – Прекраса улыбнулась, как будто упоминая о своей ближайшей родне. – Я помогла немного.

– Мне говорили, что была девица, лечила меня, от смерти избавила, на ноги поставила, а сама исчезла, ровно лебедью в небо улетела. Думал уж, не увижу тебя... Как же тебя зовут?

– Эйфрида... – вырвалось у нее: показалось вдруг, что ее домашнее славянское имя слишком просто, чтобы называть его перед князем, но потом она метнула взгляд на отца и поправилась: – Прекраса.

– Эйфрида Прекрасная! – Ингер широко улыбнулся, и лицо его засияло. – Чудное имя! Будто из сказания!

– Дайте ей пойти одеться, – уже не так сурово напомнил Хрок. – Она ж не холопка у меня...

Прекраса еще раз улыбнулась, опустила глаза и проскользнула мимо них в ворота. Ингер проводил ее взглядом: он даже не заметил, хорошо она одета или плохо. Сама девушка показала ему прекрасной, будто отлитой из золота, и какое платье на нее ни надень – ни лучше, ни хуже она не станет.

Войдя со светлого двора в полутемную избу, Прекраса замерла у порога, забыв, зачем пришла. Ее наполняла жаркая дрожь, лихорадочное возбуждение, счастье и жуть разом: она будто говорила с самим солнцем.

И она ему понравилась. Восхищенный взгляд Ингера не оставлял сомнений. Чувствуя, как сильно бьется сердце, Прекраса торопливо, но тщательно умылась и, на ходу вытираясь рушником, побежала к своей укладке. Странное чувство ее наполняло: она как будто и не ушла

со двора, а по-прежнему стояла перед воротами, где остался Ингер. Она ощущала его рядом, здесь, возле себя, как будто он может видеть ее через стену избы, но этот взгляд не смущал ее, а поддерживал и согревал. Взгляд глаза в глаза связал их невидимой, но прочной нитью, и она держалась, даже когда единение глаз прервалось. Прекраса торопилась переодеться и выйти к нему снова, но в то же время знала: можно не спешить, он никуда не денется. Эта связь теперь между ними навсегда. Силы, что превыше сил человеческих, соединили их на той заре, когда она вышла, дрожа от волнения и тревоги, к броду с материнским гребнем в руке.

Пришла мать с кувшином: заходила в погреб и принесла кваса. Видя, что знатные гости не спешат уходить, Хрок пригласил их в дом, и молодой князь согласился с такой готовностью, что удивил хозяина. Но даже сейчас Хрок не подумал, что все дело в дочери. На Прекрасу многие заглядывались, но все же – где она и где князь холмоградский!

Вот Прекраса снова вышла к воротам и молча поклонилась, приглашая за собой. Теперь она уже не напоминала холопку с огорода: надела лучшее платье, сшитое по варяжскому обычаю, из голубого плотного льна, на голове появилось красное тканое очелье с двумя праздничными серебряными колечками на висках. Вся она испускала сияние своей юной красоты, как бело-розовая почка яблони в росе – средоточие плодоносящих сил самой земли, готовая развернуться и расцвести. Не только Ингер, но даже Ивор, имевший внуков, подумал: она будто дева из сказания, за которую сами боги соперничают с лучшими из смертных. Та, ради которой само Солнце спустит с неба качели, чтобы заманить ее и поднять к своему небесному крыльцу.

Вслед за девушкой и хозяином Ингер, Ивор и Ратислав вошли в избу и сели к столу. Скромное жилище Хрока не могло принять всю их дружину, и отроки, видя, что это надолго, расположились готовить себе обед возле брода, где было устроено место для отдыха проезжающих: длинный стол под навесом, печь. Не ожидавшая такой чести Гуннора подала знатным гостям то же, что приготовила для семьи: похлебку из рыбы с травами, печеные яйца, сало и жесткий весенний хлеб с добавлением обжаренной и истолченной сосновой заболони. Знать бы заранее – можно было хоть курицу зарезать. Блюда простого дерева, горшок с похлебкой обычный, самолепный, лишь кувшин для кваса куплен в Плескове – с ровными тонкими стенками, сделанный на гончарном круге.

Сели к столу только мужчины; Гуннора с дочерью стояли у печи, следя, не понадобится ли что еще. Прекраса не сводила глаз с Ингера, и ее восхищало каждое его движение, каждое слово. Как он просто держится с ее отцом – ни надменности, ни неловкости. Ивор поначалу посматривал на молодого князя с недоумением, не понимая, зачем они здесь теряют время, но потом разговорился, стал расспрашивать, как живет здесь Хроку, откуда он, какая есть родня. Об этом рассказывать было почти нечего: и Хрок, и отец его родились в Плескове, не имели ни братьев, ни сестер. Мужчины говорили о давних походах, о Ельге киевском, о его наследстве. Хрок дивился: он не знал, что принял в доме не только холмоградского, но и почти уже киевского князя. Эта новость, перебитая вестью о болезни Ингера, сюда не успела дойти.

Прекраса тоже это услышала, но едва обратила внимание. Ей казалось естественным, что Ингеру будет принадлежать половина белого света; скажи ей кто, что он унаследует Греческое царство, она и тогда нашла бы его вполне достойным золотого царьградского стола. Где же им хоть в самом Царьграде найти лучше?

Ингер тоже постоянно поглядывал на нее. Их глаза встречались, и каждый раз от выражения радости в его взоре Прекрасу обдавало сладкой волной. Раньше ей казалось, она счастлива только тем, что может видеть его. Знать, что это она спасла его от смерти. Думалось, одно это сознание наполнит светом всю ее жизнь. Но раньше она просто не могла представить, что существует счастье больше этого – счастье смотреть ему в глаза и видеть в них ответную радость признания. Эта радость лежала в ее груди, будто кусок золота; навсегда, до самого конца, этот свет и тепло будет с ней. Ничто никогда уже не сможет ее смутить, утратить, огорчить...

Нет, кое-что может. Ивор заговорил о скором отъезде Ингера с дружиной в Киев, и до Прекрасы дошло: уже совсем скоро он уедет на другой конец света. Может быть, навсегда. Уже верно, несколько лет пройдет, прежде чем он сможет вернуться в Холмогород. И какой бы из этих двух городов Ингер ни избрал, едва ли у него будет случай еще раз навеститься в Плесков и показаться на выбутском брое...

Осознав это, Прекраса даже в лице переменялась. Она и не ждала ничего особенного от этого знакомства с холмоградским князем, но то, что судьба уносит его в такую безнадежную даль, поразило ее в самое сердце.

Ингер, кажется, тоже подумал об этом. Радость в его глазах сменилась озабоченностью. Некоторое время он молчал, предоставив говорить Ивору, а потом сам подал голос:

– А скажи-ка, – обратился он к Хроку, – богато ли тебя Стремислав вознаграждает за службу твою?

И беглым взглядом окинул простое убранство избы: нет, не сказать чтобы богато.

– Жаловаться нечего, – Хрок был несколько удивлен этим вопросом, – от того, что с проезжающих соберу, мне идет десятая часть. Да год на год не приходится. Здесь у меня не Смоленск, не касплянские волоки – ездят не часто. Когда свои князьки люди едут, они вовсе не платят: брод – княжий, и товар у них тоже княжий. Но хозяйство у меня доброе, домочадцы сыты и одеты – чего еще нам надо?

– А не хочешь ли ко мне на службу перейти? В оружники.

Прекраса в изумлении взглянула на Ингера. Хрок удивился не меньше, да и Ивор явно такого не ожидал.

– К тебе? В дружину?

– А что же нет? Ты человек крепкий, разумный, надежный, нам такой в дальнем пути пригодится. Не знаю, что за люди там в Киеве будут, мне бы своих верных людей при себе иметь побольше.

Хрок задумался. Прекраса смотрела на него, не веря в такую возможность, но замирая от самой мысли: если отец согласится, они все... поедут с Ингером в Киев. Отец и мать, она с Гунькой, Горляна... Не прямо сегодня, но до того как он тронется всем своим домом из Холмогорода на юг, им нужно будет к нему присоединиться.

– Это... я за честь почитаю, не сомневайся, – с колебанием ответил Хрок. – Да как же... от Стремислава мне уйти...

– Ты же ему не холоп, захочешь – и уйдешь. Ты ему что-то должен? Я заплачу.

– Нету у меня долгов. Да только... дед мой его деду служил, отец его отцу и брату служил...

– Они ведь хирдманами были?

– Да.

– А ты почему оружие из рук выпустил?

Хрок посмотрел на жену у печи. Гуннора опустила глаза. Это из-за нее Хрок покинул варяжскую дружину под началом Дагвида; после того случая со смертью князя Борослава он со многими поссорился и предпочел уйти из города, чтобы оберегать ее. Говорили даже, что она его приворожила.

– У жены моей... – неохотно пояснил Хрок, – с прежней княгиней, Борославовой, нелады вышли.

– Ну так вот и увезешь ее подальше. Разве худо?

Хрок снова взглянул на жену, но Гуннора стояла, ни на кого не глядя. Зачем ей уезжать? Что было, то давно прошло. Прежняя княгиня уже умерла, а нынешняя на нее зла не держит: после смерти Борослава она и стала княгиней.

– Здесь могилы и отца моего, и деда, и у жены тоже мать здесь погребена, – Хрок качнул головой. – Дети растут, стар я по белу свету бродить. Уж где пристал у места, надо держаться.

Скотины вон сколько, все хозяйство. Это, выходит, все продавать, на новом месте заново строиться. Дочери замуж пора... Сына бы с тобой послал, отроку полезно белый свет повидать – да Гунька мал еще, года бы через два-три...

– А ты сговорил дочь? – прямо спросил Ингер.

– Нет пока. Иные посматривают, да...

Хрок опять бросил взгляд на Гуннору. Тихая в обращении и покладистого нрава, она, как выяснилось, определяла весь уклад его жизни. В округе Гуннору уважали, но случай заполучить ведунью в тещи смуцал и варягов, и тем более кривичей.

– Дочь у меня тоже, вон, ведуньей растет, – Хрок перевел взгляд на Прекрасу. – Даже тебя вылечила. Пойдет теперь слава по всей волости... Да не знаю, что из той славы нам выйдет – добро или худо. Еще глядишь, побоятся ее брать...

– Выходит, я девичьей славе урон нанес, – Ингер широко улыбнулся, не обнаруживая огорчения или раскаяния. – Мне, стало быть, и возмещать. За мной и так долг. Я твоей дочери жизнью обязан, – Ингер тоже посмотрел на Прекрасу, и взгляд его потеплел. – Должен я ее наградить. От людей моих что-то брать она отказалась...

– Ну, ты уж сам и решай, сколько твоя жизнь стоит, – хмыкнул Хрок.

Гунноре платили за лечение то куском полотна, то лукошком яиц, то курицей, то ведром жита. А сколько стоит исцеление самого князя?

Ингер не сразу ответил. Он смотрел на Прекрасу и молчал, и взгляд его стал пристальным, словно он оценивал, сколько *она* стоит. На самом деле он пытался оценить, верно ли угадал судьбу свою, вдруг вспыхнувшую перед глазами, будто зарница в темном небе.

Еще нынче утром он не знал этой девы – но вот он узнал ее, и уйти, оставив ее, так же немислимо, как покинуть на этом броне собственную душу.

– Да разве такое в скотах<sup>14</sup> измеришь? – задумчиво проговорил он. – Чтобы скупым не показаться... я только одну награду вижу достойную. Давай, дядька, – он посмотрел на Ивора, – посватай эту деву за меня.

В избе наступила тишина. Каждый услышавший повторял по себя эти слова, пытаясь понять, в самом ли деле они прозвучали и верно ли он их понял. Но что здесь не понять – Ингер высказался прямо. Не стал ходить вокруг, как это принято в таких делах, поминать то овечку и барашка, то уточку и сокола...

– За тебя? – Ивор навалился грудью на стол, наклоняясь к нему.

– Не за тебя же, – мягко улыбнулся Ингер. – Для тебе сия невеста молода, а мне в самую версту.

Ивор не нашелся с ответом. Даже бойкий Ратислав застыл, будто проглотив язык, и лишь в изумлении глядел на князя.

– Кхм, – наконец Ивор, человек бывалый, овладел собой. – Нельзя так вдруг... Пойдем-ка, любезный мой, посмотрим, как там дружина наша устроилась, не терпят ли нужды какой.

– Благодарим за хлеб-соль! – Ингер тут же встал и поклонился Хроку и хозяйке. – Мы к вам еще заглянем.

Ясно было, зачем Ивор уводит воспитанника. Хрок лишь кивнул в ответ, не зная, что сказать. Не смеется ли над ним знатный гость? Как ему понимать эти слова – как честь или как оскорбление? Но даже Ивор, знавший Ингера с рождения, ничего не понимал.

Гости направились к двери, за ними Хрок. У порога Ингер обернулся и взглянул на Прекрасу. Она стояла возле матери, не сводя с него глаз. Под его взглядом отвела взор, взглянула исподлобья, как лукавый ребенок, уверенный, что его любят. У Ингера снова потеплело на

---

<sup>14</sup> Здесь «скоты» в значении «деньги вообще», от названия денежной единицы «скот».

сердце – будто целое море радости раскинулось перед ним. Улыбнувшись в ответ, будто у них уже все было улажено, он приветливо кивнул, как делают, прощаясь ненадолго.

Прекраса сморщила губы, не зная, пристало ли ей принять это как знак искренней признания. Но она не могла не верить радостно блестящим глазам Ингера. Против ее воли улыбка вырвалась наружу и расцвела, подтверждая: она согласна. Пока все было решено только между ними двоими, но этого было достаточно – никто на свете не имел власти разлучить их, соединенных Прядущими у Воды.



Напрасно хмурый от опасений за свою честь Хрок расспрашивал дочь – Прекраса ничего не могла ему разьяснить. Нет, она знать не знала, что Ингер желает взять ее в жены. Нет, она не сказала с ним ни слова, пока была в Плескове – он ее даже не видел. Она тоже слышала об этом впервые. И только в самом конце, на случай, если это все же окажется правдой, Хрок спросил, согласится ли она на этот брак.

– Видно, отец, придется нам отпустить ее, – сказала мужу грустная Гуннора. – Я ведь слушала плеск... ей судьба покинуть нас. Прядущие у Воды наперед знали. Раньше нее, раньше нас... раньше самого жениха.

Прекраса молчала. Она не сказала родителям *всей* правды. Да, она не знала, что Ингер попросит ее в жены. Но удивилась гораздо меньше других. Она не успела удивиться, как поняла: иначе и быть не могло. Договор у речного брода связал ее не только с Прядущими у Воды, но и с Ингером. Теперь их судьбы – одно. И сколько бы ни удивлялись старшие и даже сам Ингер, внезапно нашедший свою судьбу там, где не ждал, сколько бы Ивор ни пытался вразумить его, заставить опомниться, отговорить – все уже решено, они с этого дня неразлучны, как два берега одной реки.

Трое холмоградцев – Ингер с кормильцем и Ратиславом – вернулись довольно скоро. Войдя, они поклонились чурову куту и сели под матицу – этим действием сваты без слов объявляют о цели своего прихода. Прекраса отошла к печи и села возле нее. Она была спокойна, словно происходило именно то, чего она ждала давным-давно.

Ивор так и не смог отговорить своего воспитанника об безумного замысла, но и старался не слишком долго. Он знал Ингера с детства: тот всегда был настолько благоразумен, насколько это возможно в его годы, и не склонен к сумасбродству. Никогда ранее он не заговаривал о женитьбе, иначе как о деле далекого будущего. И если теперь он вдруг выбрал в жены дочь перевозчика, значит, и правда ему указали на нее боги?

Понимая, каким странным и неуместным покажется такой брак, Ивор, тем не менее, не смел очень сильно спорить. «Я знаю, в ней жизнь и судьба моя», – сказал ему Ингер. И он был прав: если бы не Хрокова дочь, его бы уже не было в живых. Так не опасно ли разлучать их? Что если этой деве с перевоза суждено хранить здоровье Ингера и оберегать его удачу? Тогда помешать им – значит погубить.

Не зная, на что решиться, Ивор даже воззвал к киянам, Братимилу и Светлому – что они скажут? Нарочитые мужи киевские послали их за молодым князем, Ельговым сестричем, но что они скажут, если он прибудет с женой-простолюдинкой? Не отвергнут ли его кияне, если он не сможет дать им высокородную княгиню?

«Она принесет удачу мне, а я – земле Русской, – сказал Ингер. – Без нее мне и ехать незачем».

«Мы ему не родители, чтоб решать, на ком ему жениться, – сказал Светлой. – На то он князь, не дитя: пусть делает что хочет».

«Нам наказано не было, чтобы, значит, неженатого звать, а женатого не звать, – усмехнулся Братимил. – Да женатый оно и лучше – на стол киевский сядет муж, не отрок».

Но и Хрок хорошо сознавал, что князю Киева и Холмогорода нужна высокородная жена.

– Пойми, – решительно сказал он Ингеру, когда гостей пригласили перейти за стол и поднесли по чарке вареного меда, – я не могу сказать, чтобы в моем роду были конунги, но рабов не было тоже, клянусь Одином и Перуном. Я не отдам мою дочь в наложницы даже князю. Или ты женишься на ней полным обычаем, или поищи себе товару в другом месте, как говорится.

– Я женюсь полным обычаем, – заверил Ингер, мигом пресекая возникшие было надежды Ивора, что дочь перевозчика займет место хотя<sup>15</sup>. – Эйфрида будет моей законной женой, и я сяду на стол киевский вместе с ней или не сяду вовсе. В том клянусь тебе на мече, что мой отец мне вручил, и коли обману, то пусть поразит меня мой меч, не защитит меня мой щит, и буду я расколот, как золото!

Ингер поцеловал золотое кольцо у себя на руке, потом снял с плеча перевязь с мечом, поцеловал рукоять и приложил ко лбу и к глазам. У Хрока было чувство, что он спит: весомость этой древней клятвы военных вождей он знал и не мог ей не верить, но и своим глазам в этом деле поверить было трудно.

– Я дам ей имя моей матери, – добавил Ингер и, обернувшись, посмотрел на Прекрасу, будто примеряя ей ожидаемую обновку. – Под ним она войдет в наш род как полноправная хозяйка и унаследует все права прежних княгинь.

У Прекрасы снова забило сердце. Она не слышала ранее о таком обычае, и эти слова Ингера потрясли ее. Он даст ей новое имя – имя своей матери! Всякая дева перерождается в замужестве, и у всякой прежнее имя как бы линяет: ее начинают чаще называть по имени мужа, как Гуннору посторонние звали Грачихой. Но имя княгини означало куда больше: она не просто войдет в новую семью, но получит властные права, как будто заново родится знатной женщиной, происходящей от заморских князей. Ингер сделает ее равной его собственной матери, княгине, жене Хрорика!

Даже Хрок немного переменялся в лице – он еще лучше дочери понял, что означает это обещание.

– Что ты скажешь? – Хрок обернулся к дочери.

Прекраса встала с приступки, повернулась к печи и отковырнула кусочек глиняной обмазки меж больших камней, из которых печь была сложена. Завернула его в платок и передала Ингеру. Руки ее слегка дрожали: в эти мгновения она вынула свою душу из обиталища чуров – печи, чтобы вручить господину своей новой судьбы. Все равно что села в челнок и оттолкнулась от морского берега. А где еще он, другой берег, доберется ли она до него через темные волны небытия?

Ингер, тоже взволнованный, взял небольшой белый сверток и поклонился ей.

– Ну, давай по рукам, – крепясь, Хрок протянул руку Ингеру, потом Ивору. – Будем «малый стол» творить.

– Не мешкай только, – попросил Ивор. – Нам еще дорога дальняя лежит.

– Завтра сделаю. Людей созвать надо, стол приготовить...

В северных землях – у словен и кривичей – жених сам отправляется за невестой и первое их соединение происходит перед невестиной печью. В доме невесты творится первый свадебный пир, соединяющий новую пару – он называется «малым столом». Второй, «большой стол», вводящий молодых в права хозяев дома и глав своего рода, устраивается у жениха, когда он доставит невесту к себе. Обычай избавлял Хрока от необходимости самому везти дочь к будущему мужу или отпускать ее, не имея уверенности, что ее честь не пострадает.

В ожидании столь значительного события холмоградская дружина поставила шатры у реки, отроки отправились на лов – стрелять к столу уток и прочую дичь, а Хрок и Гуннора

---

<sup>15</sup> Хотя – любимая, а также наложница, младшая жена (без прав хозяйки дома и матери наследника).

пошли по соседям, приглашая назавтра на «малый стол». Испытание вышло нелегкое: в каждом доме дивились, думая, что они шутят. Князь холмоградский Хрокову дочку в водимые жены берет? Да быть того не может! Какая ж из нее княгиня – из обычной девчонки, выросшей у всех на глазах? Да и время не для свадьбы – кто же весной женится?

– Вот такое диво нам выпало! – Хрок с неловкостью разводил руками. – А ждать жениху недосуг, ему еще в Киев ехать сегодням летом. Вы уж пожалуйста, будьте послухами!

Пожаловать, разумеется, все обещали. Что бы из этого чудного сватовства ни вышло, всякому хотелось видеть его своими глазами. Это и к лучшему, утешал себя Хрок: больше послухов, крепче уговор. Конечно, выбутские оратаи да рыбаки – не такие уж нарочитые люди, но и свадьба не у боярина в доме!

Можно было найти такого послуха, что важнее невозможно – самого князя Стремислава. Но Хрок скорее опасался, как бы кто из выбутских не поспешил того уведомить. Отдавая дочь холмоградцам, Хрок не нарушал никаких законов, но его прошибал пот при мысли, как это заденет Стремислава. Выходит, что Ингер поглядел на княжеских дочерей, свататься к ним не стал, а тут же предпочел им дочь перевозчика-варяга! Посчитал родство с бывшим хирдманом более почетным, чем с самим князем! И хотя выбор делал Ингер, виноват окажется отец нечаянной невесты. Снова слухи пойдут – приворожила-де... Она ж его лечила, зельем поила. Вот оно какое было зелье, скажут... Какова мать, такова и дочь... Уж и правда, что ли, сниматься с места всем домом и с Ингером в Киев ехать, раздумывал Хрок. Даже если до завтра никто Стремиславу не поведает, рано или поздно он все равно узнает. Такое не утаить...

Зато Прекраса не думала ни о чем, кроме Ингера. Завтра она снимет свое девичье очелье и положит к его ногам. Ее снова покроют с головой платком и поведут в баню; мать будет идти впереди, а Прекраса за ней, держась за конец пояса в руках у Гунноры, потому что сама она дорогу не будет видеть. В нынешнем своем положении она нема и слепа. В бане Мать-Вода смоет с нее девичество и прежнее имя, и она останется, как новорожденная, еще не нареченная, ни здесь, ни там, между девами и женами, пока в доме мужа ей не заплетут волосы в две косы и не уложат под повой. Только с Ингером она сможет вернуться в мир живых, как он – только вдвоем с ней.

Уже завтра свадебный рушник свяжет их и вдвоем выведет на эту туманную тропу между мирами. И завтра же они уедут на юг – вверх по Великой, к Холмогороду. Ингер рассказал ей, что сначала ему нужно будет вернуться домой – там они справят «большой стол», – а уже потом, забрав всю дружину, около сотни человек, поедут в Киев. К началу осени они уже окажутся в своем новом доме, которого пока не видел никто из них.

В родительском же доме Прекраса теперь стала гостьей. Сговоренная, она перестала быть дочерью своих родителей; вынув свою душу из печи, оторвав свою судьбу от судьбы рода, она сделалась им чужой, будто покойница, чуждая всему свету белому. Она не хлопотала, помогая Гунноре готовить завтрашнее угощение: пришли две ее подруги и стали работать вместо нее.

– Ох, незадача! – тихонько причитала Гуннора. – Весенняя свадьба – каравай с заболонью!

Обычно-то свадьбы делаются осенью, после жатвы, когда хватает зерна на караваи и пироги.

Если заглядывал кто-то из выбутских, Прекраса, сидя в углу в той грязной одежде, в какой полола гряды, не выходила навстречу, не здоровалась, а напротив, накидывала на голову белый плат, скрывая лицо. И этот вид девушки – привычный для дней перед чьей-то свадьбой, но неизменно навевающий жуть, – убеждал соседей, что это правда. Хрокова дочь умерла, а родится теперь заново женой Ингера холмоградского.

– Приданое-то осмотри, – сказала ей мать. – А то привезешь в Киев, чтоб перед людьми не стыдно было.

Подойдя к укладке, Прекраса опустила руки на крышку и замерла, собираясь с духом. Потом медленно подняла крышку и уставилась на холстину, прикрывавшую ее богатство.

– Боюсь, не мало ли мы наготовили, – добавила мать ей в спину. – Для наших-то женихов довольно, а то ведь князя свадьба – это ж сколько он гостей созовет? На всех мы не напасемся. Может, в пять раз больше надо, да как было знать?

Приданое у Прекрасы было не хуже, чем у любой невесты в Выбутах. Эта весна у нее шестнадцатая – мать так сказала, – она уже третье лето носит поневу и две зимы отсидела на девичьих павечерницах. Было время всему научиться, все нужное приготовить. Сорочки, рушники, пояса, рукавицы – все, что невеста дарит новой родне и гостям на свадьбе. Беленый лен, частая строчка... Шерстяные нити тканых поясов окрашены в разные цвета – пижмой, березовым листом, крапивой, корой крушины.

Прекраса откинула покровец, стала вынимать и раскладывать на лавке старательно сложенные сорочки, мужские и женские, свернутые рушники. В самом низу косяки льна – будущих чад пелены. Белые вершники с щедрой красной отделкой, поневы простые и праздничные.

– Ой, а повой как же? – Прекраса повернулась к матери. – Повой-то должна свекровь подарить, а у... у него... у Ингера матери-то нет давно...

Имя жениха далось ей с трудом – она все еще не верила в свое счастье. Все еще казалось, что назови она его вслух – и этот сладкий морок лопнет, будто пузырь на воде. В эти дни она ходила, как не в себе: выпавшее ей счастье было слишком огромно, чтобы радовать, не помещалось в душе, угнетало, наполняло тревожной дрожью. Но ни за что на свете она не променяла бы его на другое, поменьше. Лучше умереть от любви, чем жить кое-как.

– Тетку какую-нибудь сыщут или бабку. Не вовсе же он у тебя сирота.

– Он о родне в Киеве не говорил ничего. А в Холмогороде, кроме отца, никого и не было. Пришлые же они. Варяги.

Было немного страшно об этом думать. У всех есть родня – и по отцу, и по матери, и у отцов-матерей тоже родня со всех сторон, по всей волости, на семь колен... А у Ингера не было никого, кроме покойных родителей и еще вужа, брата матери, в Киеве, но он тоже теперь покойник. И все. Она, Прекраса, ныне единственная близкая ему душа. Вся его семья.

На что будет похожа ее жизнь с ним? Прекраса ничего не знала о том, в каком доме, с какими людьми ей отныне придется жить.

Уж верно, новая жизнь не будет похожа на эту, здешнюю. Прекраса невольно зажмурилась. Это было все равно что сесть в челнок и оттолкнуться от берега, чтобы неслось тебя прямо в синее море, где не видать берегов.

Но Прекраса не боялась. В этом челне она окажется не одна. С ней будет он – Ингер, молодой князь холмоградский, а теперь и киевский. В бескрайнее море они поплывут вместе. А с ним Прекраса не боялась ничего. Не было страха в том мире, где был он, потому что он, Ингер – все, что ей в жизни нужно. Только быть с ним. Быть им любимой, его женой. И неважно, как долго. Лишь бы оставаться с ним до последнего земного вздоха и вместе перейти в Закрадь. И там тоже быть вместе – навсегда, пока солнце светит и мир стоит. Пусть даже там солнце и не светит вовсе.

Глядя на сложенные рядком свернутые поневы из толстой черно-бурой шерсти – повседневные с белой клеткой, праздничные с красной – Прекраса пыталась вообразить себя замужней женщиной... княгиней в Киеве... Пыталась мысленно увидеть людей, среди которых ей жить – но что она о них знала? Кияне... или поляне, что там за племя-то такое? Что за люди? Гриди вроде тех, что приехали с Ингером? Бояре – из них она пока знала только одного, Ингерова кормильца, Ивора. Их жены... Уж верно, киевские боярыни таких понев не носят. И сорочки эти – она глянула на лавку, где сложила свое девичье богатство, – им не впору придутся.

Кое-как Прекраса покидала все это назад в укладку.

– Ты чего? – беспокойно окликнула ее мать. – Сомнешь.

– Ну и пусть! – Прекраса с шумом опустила крышку и села сверху, будто закрывая навсегда все былое. – Матушка, незачем мне тут добро перебирать. Ничего из этого мне в Киеве не понадобится!

Сорочки, чулки и полотно где угодно пригодятся, но в целом все это добро, которым она еще недавно так гордилась, стало ей не нужно. Оно готовилось не для той судьбы, которая ждала ее отныне.

А для того, что ждало ее на самом деле, у нее был только гребень – подарок речной девы, и ее любовь к Ингеру. Обладая этими двумя дарами, Прекраса смотрела в будущее без страха. У них ведь еще так много времени впереди! Целая жизнь, разделенная на двоих. Такова воля хозяйки плеска, а «плеск» в этих краях означает «судьба».

## Глава 5

Уже более полугода, с тех пор как умер отец, Ельга оставалась единственной хозяйкой на княжьем дворе в Киеве. Править хозяйством и челядью ей было нетрудно: матери она лишилась пять лет назад, двенадцатилетней девочкой, и тогда же получила главные ключи. С помощью отца и старшей челяди, слишком юная хозяйка постепенно привыкла ко всем обязанностям госпожи богатого дома. Отец выказывал ей уважение и тем принуждал к тому же домочадцев и киян; оставаясь до сих пор в девах, единственная дочь Ельга киевского уверенностью и благоразумием не уступала замужним ровесницам, а иных и превосходила. Ельг не спешил выдавать дочь, чтобы не лишать дом хозяйки. Он мог бы жениться снова: пусть ему было уже за шестьдесят, за такого человека любой охотно отдал бы дочь, а молодые знатные вдовы и вовсе бы за счастье посчитали.

Боясь засидеться, Ельга не раз намекала: ты бы о невесте задумался, батюшка. Но Ельг только улыбался в седеющую бороду. У него было несколько жен – две знатных и еще больше младших, – но сейчас ему было поздно заводить новую семью. Он уже решил, кто будет его наследником взамен погибших сыновей, и теперь хотел спокойно дожить свой век, окруженный заботой родной души. В последние года три он часто хворал, и Ельга сама понимала: теперь все попечения о нем – только на ней.

При мысли об отце на глаза Ельги набегали жгучие слезы. Ельга очень его любила, особенно в последние годы, когда они остались вдвоем. Без него княжий двор был пуст, город Киев пуст, белый свет холоден. Некому теперь о ней позаботиться, ее защитить, посоветовать. Некому ее любить... Как будто с дома сорвало крышу – исчез тот, кто был главой ее рода, но никто не заступил его место. Даже выдать ее замуж было некому – кто же будет класть ряд с родом жениха? Если боярская дочь остается сиротой, ее выдает замуж князь. А кто устроит дочь князя?

Забот со смертью старого Ельга заметно прибавилось. Он умер осенью, и зимой некому оказалось идти в полюдье. Дань с полян, радимичей, древлян и некоторых северянских земель на левом берегу Днепра, что Ельг успел подчинить себе, не собрали. Не было товара, чтобы посылать в Царьград, и торговый обоз в эту весну не отправлялся. А значит, не будет ни серебра, ни паволок, ни красивых блюд и сосудов, ни вина, ни еще каких греческих товаров. Хлеба хватало с запасов прошлых лет, молоком и мясом дружину и челядь обеспечивали собственные княжеские стада, но если не начать собирать дань, торговать и пополнять припасы, но уже очень скоро княжьему дому грозило оскудение. И Ельга, знавшая, откуда что берется, понимала это очень хорошо.

Утром на княжий двор пришли два воза с бочонками и мешками: Славигость привез обещанную кислую капусту, сушеные грибы, конопляное и льняное масло, моченую бруснику, подвядшую прошлогоднюю репу, солод. Но Ельга и этому была рада: уже несколько дней и челядь, и дружина, она сама ели только хлеб, рыбу из Днепра и копченое сало – больше ничего в собственных погребах не осталось. Свой овощ у Ельги кончился: рабочих рук для огородов и сборов у нее было меньше, а едоков – куда больше, чем у любого из полянских старейшин. Всю зиму ей пришлось дома кормить дружину, которая обычно в эту пору кормилась, обходя земли с гощением и полюдьем; в этот раз гриди только на ловы ездили, добывая дичь, но запасы хлеба не пополнились. Хорошо, что Славигость, глава обширного рода, имел некоторый избыток и продал ей свои огородные и лесные запасы, из весей, населенных его родичами.

На широком княжьем дворе бочонки сгрузили возле клетей, и Ельга вышла посмотреть. Рядом с товаром стоял сам Славигость – внушительного вида муж лет сорока пяти; густые седые волосы осеняли белым пламенем еще довольно свежее, продолговатое лицо с крупными чертами и прямоугольным лбом. Нечто степное – наследство бабки-хазарки – сказывалось в

цвете смуглой кожи, в темном волосе полуседой бороды и слегка в разрезе глаз. Он стоял, уперев руки в поясицу, и с гордостью оглядывал целую стену бочонков.

Ельга подошла к нему, сопровождаемая ключницей, Годочей, и он, шагнув ей навстречу, величаво поклонился. Ельга в ответ вежливо склонила голову. Все эти полгода она испытывала неловкость при встречах с чужими: в ее доме больше не было главы, и ощущение получалось такое, как будто она выходит навстречу гостю, а позади нее у дома нет стены. У киевских старейшин, если они навещали княжий двор, вид тоже бывал недоуменный: им не пристало кланяться девице-сироте, но в ней сейчас заключался весь Ельгов княжий дом. Ну, почти в ней одной... Одета в белое варяжское платье с тонкой черной оторочкой, с красным очельем, но без украшений, она казалась тенью, случайно задержавшейся в опустевшем жилище.

– Будь жива, Ельговна, – темные, как у его бабки, глаза Славигостя смотрели на нее с теплом. – Вот, привез тебе припас, как уговаривались.

– Будь жив, боярин, – Ельга улыбнулась. – Давай, показывай скорее. Как же вы почти до Купалий столько сберегли? Прямо не верится.

– Богаты мы, Волостовичи, людьми-то, – боярин улыбнулся. – Без дела не сидим: бабы на огородах, девки и паробки ягоды-грибы берут. Тихомысловна всякий год запасует, погреба битком набивает, что не съесть. Я уж ей говорю: куда тебе столько... А вот пригодилось – себе и людям хватило.

Все припасы Славигостю привезли из весей, поэтому посмотреть их заранее Ельга не могла. Она велела открыть бочонки; переходя от одного к другому, из каждого понемногу пробовала сама, давала попробовать Годоче. Бочонки были все разные, капуста тоже разная, от разных хозяев собранная – где с клюквой, где с брусникой, где с тертым хреном, где даже с яблоком. Капуста лежала давно, больше полугодом, и Ельга хотела знать, что покупает не перекишную, не зацветшую плесенью.

– Да разве я бы тебе привез худой товар? – приговаривал Славигость, прохаживаясь следом за ней. – Я же как для дочери родной для тебя... Тихомысловна свое дело знает!

– Да я уж вижу – вкусно как, не могу удержаться! – Ельга оборачивалась и улыбалась ему. – Со смородиновым листом, мое любимое! Мы уж почти месяц как свою доели, соскучились. Поздняша, и вот этот тоже давай посмотрим!

Она не думала, что Славигость нарочно попытается подсунуть ей гниль – он тоже себя уважает. Но по бочонкам было видно, что их с осени не открывали, а Ельга не желала ни платить за дрянной припас, ни дать повод веснякам думать, что если на княжьем дворе за хозяйку осталась девица без отца-князя, то ее можно провести. Если она будет раззявой, то скоро весь двор останется голодным!

– А ну дай мне! – раздался у нее за спиной низкий, грубый голос.

– Ой! – Ельга невольно подпрыгнула от неожиданности.

Крупная загорелая рука протянулась через ее плечо к бочонку и захватила сразу целую горсть. Ельга обернулась.

– Свенька! – если бы не Славигость и его челядь, он бы засадила Свену кулаком под дых, как порой делала; на него это, правда, не производило никакого впечатления, зато она отводила душу. – Что ты подкрался, как медведь! Тьфу, у меня так сердце выскочит!

– Не выскожит, – с полным ртом капусты возразил Свен. – Оно там крепко прифито...

Ельга скривилась, глядя, как он жует: к бороде кусок морковки прилип.

– Вот ж-жрет... как голодный, – пробурчала она себе под нос и со стыдом покосилась на Славигостя.

Боярин стоял, упирая руки в поясицу, и сдержанно усмехался в полуседую бороду.

– А я и есть голодный! – Свен дожевал и явно нацелился зачерпнуть еще горсть, но Ельга передвинулась, загоразивая от него бочонок; однако он не растерялся, а шагнул к другому,

который она уже проверила. – На сушеной рыбе два дня живу! Завтра на лов поеду. Хотел сегодня...

– Да проспал! – перебила Ельга.

– Нет, послал паробков добычу получше отследить. Хватит за зайцами гоняться, нам бы туров пару-тройку поднять. Хоть бы поесть как следует. А то на мне уже порты болтаются, скоро пояс упадет, жма.

– Болтается на нем! – Ельга уперла руки в бока и окинула взглядом его крепкий стан, на котором столь голодная жизнь пока не сказалась. – Язык у тебя болтается, вот что! Хватит жрать, я еще не расплатилась, а ты сейчас весь воз себе в пасть запихаешь!

– И тебя вместе с ним! – хмыкнул Свен, насмешливо прищурясь.

Он еще помнил, как в детстве пугал сестру; когда она была пятилетней девочкой, он, тринадцатилетний и для своих лет рослый, казался ей великаном, и она его опасалась.

Глядя, как Свен и Ельга стоят лицом к лицу, трудно было догадаться, что у них общий отец. Только высокий рост создавал между ними некоторое сходство, и то Свен был выше почти на голову. Во всем остальном они были совсем разными. Свен, здоровенный, с продолговатым лицом, с довольно грубыми чертами, с глубоко посаженными глазами, напоминал дубину, окованную железом – особенно в боевом доспехе. Довольно полные яркие губы обычно бывали сложены сурово, концами вниз, что придавало ему угрюмый вид. Русые волосы он стриг коротко, русую бороду он тоже носил коротко и подбривал на щеках, так что она скобкой спускалась с виска, огибала угловатую нижнюю челюсть и одевала подбородок.

Ельга же перед ним была как золотое кольцо перед железным топором. Золотистые волосы, чуть отдающие в рыжину, правильные, довольно крупные черты лица, темные брови, яркие губы, крепкий стан с полной грудью – она считалась самой красивой девой в Киеве. Глаза у нее были необыкновенного цвета: светло-карие, почти желтые, с зеленоватыми искрами; казалось, в этих глазах бурлит чародейное зелье. Высокий ее род сказывался во всем: в повадке, в поступи, в голосе, в уверенном взгляде. Сама походка ее – плавная, деловитая, целеустремленная, но не суевливая, сразу давала понять, что это выдающаяся молодая женщина, обладающая большой внутренней силой. Ельга была умна, горяча нравом, но с детства приучилась сдерживаться и вести себя с достоинством. Только Свен с его грубостью и нахрапом порой выводил ее из себя.

Но самое главное различие между ними заключалось не во внешности. Ельга была дочерью княгини Ольведы, последней законной жены Ельга, а Свен – сыном полонянки, приведенной из похода на северян. По возрасту он был четвертым из пяти Ельговых сыновей, но сейчас единственным оставался в живых. Княгиня Ольведа сама досталась Ельгу как военная добыча: она происходила из Аскольдова рода и попала Ельгу в руки вместе со всем домом прежнего владыки Киева. Ей в ту пору было всего семь лет, и еще семь лет после этого Ельг заботливо растил ее в своем доме, почти как дочь, имея в виду взять в жены, когда она достигнет надлежащего возраста. Но здесь было другое дело: дева из рода полянских князей воплощала власть над этой землей; по сути, сам Ельг вошел в ее род, а не она – в его. Вместе с ней он получал киевский стол не только по праву сильного, но и по праву родовой преемственности. У них родилось двое сыновей, Ольвид и Асгрим; Ельга появилась на свет последней из чад своего отца, и к ней он был привязан сильнее, чем к кому бы то ни было из своего потомства и домоладцев. Словно чувствовал, что в ней на белом свете останется лучшее, что было в ее предках с обеих сторон.

– Вот этот перекус, – Свен, дожевывая вторую горсть, кивнул на дальний бочонок и взглянул на Славигостя. – Ты ее, видать, в тепле передержал.

Ельга тоже заметила, что бочонок подкисший, но собиралась сказать об этом, только если Славигость заломит слишком дорого. Есть все-таки было можно, особенно если промыть и сварить.

– Это уж пусть хозяйка решает, – Славигость не стал спорить, а вместо этого ухватился за случай уколоть Свена, напомнив, что он-то в этом доме вовсе не хозяин.

Свен прямо встретил его насмешливый взгляд и неспешно обтер руку о подол сорочки. Ельга покосилась на это, но смолчала. Славигость еще улыбался, но его карие глаза посуровели: он приготовился дать отпор. Свен держался спокойно, но возникло впечатление, что эта рука сейчас сожмется в кулак и... Грубоватое лицо, пристальный, острый взгляд глубоко посаженных серых глаз, широкий разворот плеч и уверенная осанка Свена источали легкую угрозу; так и казалось, что внутри этого человека – меч, всегда готовый к бою.

Однако меча у Свена не было – сыну рабыни меча не полагается. Топор и пояс – и то уже честь, знак, что ты воин, а не холоп. В пятнадцать лет Ельг вручил ему пояс и объявил свободным человеком – иначе не мог бы принудить гридей, вольных людей, ему повиноваться. Но прав на отцовское наследство это Свену не дало. Теперь его участь зависела от законных наследников Ельга: они могли выделить ему что-то или нет, оставить в доме или изгнать. Он присутствовал на тех советах, где кияне решали, как теперь быть. Ельг завещал послать за его сестричем, живущим в Ладогe Ингером сыном Хрорика. Кияне могли бы решить и по-другому, но Свен, хоть и остался единственным сыном покойного князя, почти не имел надежд на признание. Рабство матери, собственный суровый нрав и воля отца вели к тому, что он останется в дружине у нового князя в том же положении, в каком был при старом. Если сумеет с этим новым князем поладить. А вот в это Ельга, хорошо его зная, почти не верила.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.